

ВСТРЕТИМСЯ У ТРЕХ ЖУРАВЛЕЙ

АФГАНИСТАН: ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА

"Огонек" №№ 28-30, 1987



Артем БОРОВИК Фото автора

Никогда не знаешь точно, сколько времени проходит с момента ранения до того, когда начинаешь чувствовать боль.

Иногда — секунда.

Иногда — час.

Иногда — больше чем вечность.

Командир минометного взвода лейтенант Слюньков замерил этот промежуток точно. Получилось, как он говорит, «строго пять секунд».

«Духи»¹ начали обстрел эрсами². Слюньков мигнул глянул на часы, чтобы засечь время между вспышкой от пущенного второго снаряда и подоспевшим звуком. В тот самый момент он почувствовал удар в плечо. Удар, но не боль.

В суматохе Слюньков не обратил на него внимания. Он продолжал следить за стрельбой, чтобы помножить потом секунды на 333³ и получить дальность огня. Однако помножить не смог: боль бросилась на него с ревом локомотива, врывающегося в туннель.

— Мне повезло, — сказал он, — плечевое ранение — романтическое ранение.

В доказательство он расстегнул ворот и оттянул тельняшку.

Романтики там было мало.

Иногда боль вливается в тебя одновременно с осколком. А случается и так, что она вообще не приходит. Это как далекая-далекая гроза: молния вспыхнула, а громыхнуть забыла. Только вдруг услышишь хлопанье в ботинке — точно ноги промочил. Хотя вокруг пустыня без конца, края и воды.

Или почувствуешь, что тельняшка, став сырой и тяжелой, плотно облепила грудь, спину, бока — вроде как вспотел. Только сильнее обыч-

ного. Лейтенанту Манееву пуля попала в живот, а он это заметил, лишь когда солдат, смущаясь, сказал: «Товарищ лейтенант, а у вас вроде дырочка...»

— Классический случай внутреннего кровоизлияния, — улыбается Манеев. — Но пусть уж лучше боль приходит вслед за ранением. Хуже — если смерть.

Говорят, не дано услышать свист пули, которая тебя убьет. Но это лишь говорят. На самом деле дано.

Шли ожесточенные бои близ кишлака Малям-Гулям, что под Ханабадом. Был получен приказ выйти к «зеленке»⁴ и замкнуть кольцо вокруг банды. Но головной взвод напоролся на «духовский» опорный пункт: ни укрыться, ни окопаться — окрест лишь затопленные рисовые чеки. Командир взвода лейтенант Лобачевский получил ранение прямо в сердце.

— Верить — нет, — сказал мне майор Новиков, к которому были обращены последние слова лейтенанта, — Лобачевский связывается по радиации с КП и докладывает: «Разрешите выйти из связи. Я убит».

Я верил.

История была слишком невероятной, чтобы не верить.

Смерть на войне — дело обычное. Не менее банальное, чем тушенка в сухпайке или мозоли на ногах. О ней говорят запросто. Порой — с юмором. («Что жизнь после смерти! Ты ответь мне лучше, есть ли жизнь до смерти?»)

Будь Смерть наделена разумом и всеми сопутствующими ему атрибутами типа гордыни и самолюбия, она обязательно бы возмущалась от столь панибратского к ней отношения. Вой-

Перед высадкой десанта на вертолетах в горы.

на срывает с нее ореол таинственности. Загляните в наш медсанбат, и вы сами убедитесь: смерть — это надрывные крики раненых; смерть — это безмолвный стон в глазах тех, кто уже не в силах кричать; смерть — это запах промедола, спирта, крови и чего-то еще, что живой мозг не может определить.

— Смерть — сука, — скажет вам майор Новиков.

И будет прав.

— Понимаешь, — уточнит полковник Заломин, стиснув средним и большим пальцами виски, — она ведь берет лучших наших ребят...

— И все-таки, — почти про себя шепнет полковник Пешков, — о ней надо думать. Нельзя откладывать этот вопрос до последних дней, на крайний случай. Мысль о смерти не должна заставить тебя врасплох, когда ты будешь измучен или слаб.

— А что мне ее бояться, — ухмыльнется лейтенант Лукьянов, громыхнув аппаратом Илизарова, — чему быть, того не миновать. Лично для меня она никакой рояли не играет: пока я есть — смерти нет, когда она придет, меня уже не будет...

— Моя смерть, — пояснит прапорщик Белоус, умеющий излагать мысли компактно и драматично, — может огорчить кого угодно. Только не меня.

...Разговаривая с этими людьми, я не переставал поражаться той громадной внутренней работе, которую проделала душа и мозг каждого из них, чтобы прийти к такому вот спокойному и даже деловитому отношению к смерти. Я поражался до тех пор, пока не понял: привычка думать о смерти как о естественном, обычном и в конечном итоге том единственном, в чем человек может быть абсолютно уверен, уничтожает всякий страх перед нею.

¹ «Духи» — душманы.

² РС — реактивный снаряд.

³ 333 м/сек. — скорость звука в воздухе.

⁴ «Зеленка» — зона зеленой растительности.

Раннее-раннее утро. Часов пять. Быть может, самое начало шестого. Дорога Кундуз — Багланы ужом извивается между сопок, обвивает их, ползет вверх, скользит вниз, прячется от моих глаз; вдруг опять где-то совсем далеко сверкнет на солнце ее мокрая спина.

Вдоль горизонта тянется вереница гор. Сахарные пики тех, что повыше, отрезаны от оснований тонкими блинообразными облаками, медленно, словно жидкое тесто на сковороде, растекающимися по небу. Почти пасторальная идиллия: еще чуть-чуть, и поверишь, что это высокогорный курорт где-нибудь в Швейцарских Альпах.

Кстати, в дорожном атласе, изданном тридцать лет назад в Кабуле специально для иностранных туристов, путешествующих на автомобиле, провинция Кундуз так и названа — «Афганская Швейцария». Карта досталась мне прошлым летом в подарок от одного старого журналиста-англичанина, приехавшего в Кабул недели на две с группой западных репортеров. Кроме карты и любви к виски, он обладал пышной шевелюрой еще гнедых волос, делавших его похожим на классического британского льва. Атлас этот помогал ему ориентироваться здесь в пятьдесят каком-то году, когда он с семьей разъезжал по Афганистану в белом «ягуаре». Карта прохудилась на сгибах и, ко всему еще, была усыяна рыжими кляксами не то чая, не то виски. Однако это лишь красило ее, придавая какой-то дополнительный смысл. Словом, прелесть что за карта. Особенно теперь, когда она никому не нужна. Карта-реликт. Карта-призрак. Любопытно было бы увидеть моего британского коллегу в его белом «ягуаре» с этим атласом на коленях сейчас, путешествующим из Кундуза в Багланы вот по этой самой дороге. Интересная получилась бы картинка.

Часов в семь, когда солнце становится яростней, облака покрываются едва заметной золотистой корочкой, а еще не успевшая подсохнуть дорога блестит, точно размотанный в длинную ленту рулон фольги. И если ты посмотришь на нее сквозь бинокль, глаза мигмом зашиплет от проступивших слез.

Но стоит проехать по ней первые пять метров, тут же поймешь, что она, как и все трассы Афганистана, израненная дорога. Ее изувеченное минами и снарядами тело спазматически корчится между сопками.

Если бы дороги могли выть от боли, я предпочел бы стать глухим на отрезке Кундуз — Багланы.

Наши две брони¹ движутся медленно, не более 25 километров в час. Мы старательно объезжаем воронки, некоторые из которых больше похожи на кратеры: «духи» здесь поработали от души. Тяжелые бронированные машины раскачиваются, как два катерка в семибалльный океанский шторм, вот-вот готовые черпнуть бортом воду из вьющейся справа реки Баглан.

Наш механик-водитель, устав крутить баранку, норовит свернуть на левую обочину — она не столь изрыта минами и ехать здесь можно быстрее. Ничто так не действует на нервы русскому солдату, как по-черепашьему медленная езда. Тогда подполковник Артеменко кладет свою широкую ладонь на ежиковатый, прогретый солнцем и рыжий от дорожной пыли затылок водителя и поворачивает его направо: машина мгновенно вырывается на самую стремнину дороги: здесь вроде бы побезопасней, засунуть мину под асфальт не так-то просто. Впрочем, «духи» поднапорели и по этой части. Да и вообще безопасность в Афганистане, как нигде, подчинена не столько законам обычной военной логики, сколько везению: не захочешь, а станешь суеверным.

Проскакиваем расположение 507-го национального полка. Еще год назад он сражался на стороне контрреволюции, но недавно примкнул к народной власти, потребовав от правительства выполнения ряда условий: не призывать его бойцов в регулярную армию, снабдить полк боеприпасами и оружием, выделить территорию, которую он бы защищал от посягательств душманов. Правительство выполнило все требования, хотя зачастую такие шаги сопряжены с серьезным риском: случалось, что, пополнив за государственный счет свои арсеналы и получив передышку для восстановления сил, подобного рода военизированные формирования потом опять начинали боевые действия против регулярных афганских войск и советских подразделений.

Часам к двенадцати дорога подсохла, и теперь мы тащим за собой шлейф густой клубящейся пыли метров в тридцать длиной. Брони, идущей позади, не разглядеть. Слышен лишь рев ее движков. Лица наши вроде как загорели, но стоит провести по лбу носовым платком, и весь «загар» останется на нем в виде рыжей пудры.

Вдоль обочин бредут безразличные ко всему в этом мире ослы, нагруженные так, что видны лишь их уши, следом — погонщики с тоненькими прутиками в руках. Разглядывая этих навьюченных многопудовыми мешками с рисом, связками дров, каким-то невыносимым домашним скарбом животных, я не переставал дивиться их отстраненному, почти созерцательному отношению к жизни. Ни гром четверки истребителей, пролетающих в двух десятках метров над их ушами, ни рычание БТРов, теснящих их на обочины, ни грохот разорвавшейся поблизости мины — ничто не может вывести животных из молчаливого спокойствия. Быть может, они познали что-то, чего не ведаем мы, но просто дали обет молчания?

— Все, Багланы, залезай в броню! — командует Артеменко, и я быстро выполняю его приказ.

Впрочем, он мог этого не говорить: и без чужой подсказки понимаешь, что ты на подступах к Багланам. Здесь уже четвертые сутки подряд наши бок о бок с подразделениями 20-й афганской дивизии, тремя оперативными группами МГБ и царандом держат в плотном блоке отряд Гаюра, к которому примкнули остатки разгромленных бандформирований, обстрелявших недавно таджикский городок Пяндж. По данным разведки, в окружение попало около трехсот пятидесяти душманов, превративших Южный Баглан в свой базовый укрепленный район, оборудованный по всем законам современной фортификационной науки.

В прошлом году Гаюр отправился в Пакистан, а в феврале этого года вместе с несколькими большими караванами вернулся, доставив в провинцию Кундуз, точнее, в город Южный Баглан, несметное количество боеприпасов и оружия. Сейчас он ведет огонь из двадцати ПЗРК китайского производства, пяти безоткаток. У него на вооружении — двадцать РПГ², 8 минометов, пулеметы, 76-миллиметровые пушки, одна 122-миллиметровая гаубица.

Второй наш БТР обстрелял пулемет, но мы этого не заметили, потому что частые астматические залпы почти в зенит работающей артиллерии заглушают все остальные звуки.

Сквозь щель для стрельбы из БТРа видны равные облака дыма, плавающие над городом. Вдоль обочин дороги безжизненно застыли подорванные на минах КамАЗы, несколько афганских автобусов. С грохотом прицельного артиллерийского огня, вспышками взрывов совершенно не вяжутся несколько сгорбленных фигур крестьян, пашущих еще не успевшую иссохнуть серо-желтую землю в седловине между двумя горами. И уж совершенно фантастически выглядят цирюльник с деревянным гребнем и длинным лезвием в коричневых старческих руках. Он сидит на коврике под тощим эвкалиптом у самой дороги.

² РПГ — ручной противотанковый гранатомет.

Каждая звездочка на самолете под фонарем означает, что летчик-истребитель совершил десять боевых вылетов.



Он застыл в ожидании клиента. Он провожает нас тихим, все понимающим взглядом.

Если на дороге затор и мы останавливаемся, к нам мигмом подбегает целый выводок легких, поджарых ребятишек (на местном жаргоне наших солдат — «бачат») — мал мала меньше. Они размахивают сумочками с американскими противогазами и кричат: «Командор, Гаюр — газы! Гаюр — газы!»

— Это они нас предупреждают, — орет мне прямо в ухо Артеменко, пытаюсь перемочь рокот двигателей, — что у Гаюра на складах химические мины! Понял?

Я что-то кричу изо всех сил в ответ, а глаза автоматически рыщут по кабине в поисках хоть одного противогаза.

— Но, может быть, — дерет мне ухо своей щетиной Артеменко, — Гаюр подкупил бачат игрушками, чтобы посеять панику среди солдат! Понял?

Тем временем подъезжаем к нашему КП. Он расположился на небольшом холме в кирпичном домишке, обмазанном глиной. Здесь раньше обитал губернатор провинции Кундуз, решивший подыскать для жилья более безопасное место. Вокруг холма спиралью закручена дорога, ведущая прямо к дверям. Вместо стекол, выбитых вчера взрывной волной, в окнах натянут дымчатый целлофан. Потолок и стены отделаны плетеной соломой и грубыми досками, видимо, от снарядных ящиков. При каждом близком разрыве гранаты сухая глиняная пыль осыпается сквозь щели прямо за воротник. Стоит деревянный стол с разложенными на нем картами. Рядом — посеревшие от времени лавки.

Напротив меня сидит полковник Шеховцов. Это рано поседевший, крепко сколоченный человек. За его плечами уже порядочный боевой опыт, о котором свидетельствуют не только минимальные потери в подразделениях (хотя, конечно, даже потерю одной человеческой жизни вряд ли можно назвать минимальной), молниеносное окружение гаюровской банды или недавняя операция по уничтожению группировки Ортабулаки, но и serene спокойные глаза, внушающие уверенность в успехе дела. Он говорит тихо, ровно, почти не повышая свой слегка хриловатый голос. Точно так же он отдает лаконично-емкие приказания по телефону, при этом не выпуская потухшей сигаретки из прямого, с бледными губами рта. В углу приютился лейтенант. На его голове защитный шлем вертолетчика, служащий одновременно и как каска, и как рация.

— Среди всех банд, орудующих в провинции Кундуз, Гаюрова оказалась наиболее ожесточенно настроенной против национального примирения, — говорит Шеховцов, оторвавшись от телефона. — После 15 января он резко увеличил число обстрелов наших и афганских застав, мирных кишлаков в районе Пули-Хумри. Поэтому сразу после того, как мы закончили разгром группировки Ортабулаки, обстрелявшей эрсами Пяндж, было принято решение двинуться дальше на юг и блокировать Гаюра здесь, в Южном Баглане. Он трудный противник, хорошо знающий нашу тактику. — Шеховцов на секунду задумался. — Впрочем, как и всякий бывший друг, оказавшийся предателем. Ведь раньше Гаюр был на стороне революции. Более того, он учился в Союзе. Потом переметнулся в стан душманов и с восьмидесятого года начал активные боевые действия на территории Афганистана. Воюет он подло: под страхом смерти запрещает выходить мирным жителям из окружения, держа их в качестве заложников. Но все равно и наши, и афганские агитотряды продолжают работать: в результате под прикрытием огня нам удалось выволочь оттуда всех женщин, стариков и маленьких детей. Тогда он вооружил пацанов, начиная с десятилетнего возраста, заставив их воевать. Но дети поверили нам, а не ему и за две ночи, сдав оружие, вышли через фильтрационные пункты блока.

Резко открывается входная дверь, и сквозь нее слышен нарастающий томительный вой мины. Она пролетает мимо и падает где-то позади КП, чуть левее. В грохоте взрыва можно разобрать дробный шум осколков и комьев грязи, ударившихся о стены бывшей резиденции губернатора.

Вбегает, чуть согнувшись, майор и, едва отдышавшись, обращается к Шеховцову:

— Золотаренко срочно просит танк с тралом. — Возьми, — говорит Шеховцов, не отрывая глаз от «пятидесятки», — но не больше чем на час.

Майор убегает, а Шеховцов просит телефониста соединить его с «Сонатой».

— «Соната», как слышишь? У тебя слишком большие разрывы между блоками — встань плотней. — В другую трубку, зажав ее плечом и головой, как скрипку, говорит: — Продумай, Петрович,

¹ Броня — бронетранспортер (БТР).

группировку артиллерии, минометов, чтобы можно было вести беспокоящий огонь по камышовой и зеленой зонам. Понял, да? Давай действуй!

Незаметно для себя на КП я прикончил полпачки сигарет.

Шеховцов выходит меня проводить. Все чуть пригнулись к земле, лишь он стоит прямо, глубоко затягиваясь свежим воздухом.

— Не бойтесь гаюровских снайперов? — спрашиваю его.

— А ну их к черту — унижаться еще! — щурится на солнце Шеховцов. — Сейчас бои идут с десятой на девятую и с третьей на четвертую улицы: начинаем помаленьку сжимать клещи. А в 17.00 после артподготовки начнем брать пятую и восьмую улицы. Пока что между тисками блока два с половиной километра, а надо сблизиться до одного: тогда Гаюру некуда будет деваться...

В это время трещит телефон внутри, и Шеховцов скрывается за дверью.

Внизу, прямо у нашего БТРа, танцует волчок из пыли и песка. Он вращается все быстрее, закручивая уже мелкие камешки и сухие ветки. Он пляшет на одной ноге, вертясь вокруг своей оси, как прима-балерина, завораживая зрителя, увлекая его и все вокруг в свой головокружительный танец. Это «афганец». Мы прячемся в БТР. Если не от кумулятивного снаряда, то уж от ветра машина нас защитит.

Гаюр здорово изуродовал своим огнем Баглан. Стоят дома-обрубки, лежат дома-трупы. А от этой глинобитной хижинки не осталось вообще ничего. Одно лишь воспоминание.

Над головой грязным, сырым холстом висит расстрелянное небо. В нем молча, с остервенением дерутся два белых орла. Птицы тоже привыкли к войне.

Близ развалин одной из лачуг молится мальчик лет семи: подошло время намаза. Он делает это истово, вернее, неистово. Быть может, так молятся лишь в детстве.

Подъезжаем к одному из фильтрационных пунктов, входящих в блок. Он состоит из БТРа и звуковещательной станции. Вылезаю из брони, чтобы сделать несколько снимков, и ощущаю себя черепахой, которую вытащили из панциря.

Один из офицеров местного управления МГБ рассказывает мне, что основная масса жителей, покидающих блокированную зону, выходит именно через этот фильтрпункт.

— Мы проверяем очень тщательно документы и наличие оружия. Но дело это сложное, — говорит он и щиплет свои роскошные усы. — Под видом местных крестьян из блока стараются выйти бандиты Гаюра. Вот эти двое, — он показывает на бородатых рыжеволосых парней лет двадцати, сидящих на обочине, — напялили на себя женскую одежду и попытались проскочить.

У парней вид довольно безобидный. Я говорю об этом офицеру.

— Безобидный до тех пор, пока они не начнут в вас стрелять, — отвечает он. — Впрочем, переодевание — хитрый, но уже порядком избитый прием: они рассчитывали на то, что с женщины не снимешь чадру. Однако мы предвидели такой вариант и специально пригласили двух девушек из местного управления МГБ, чтобы в таких щекотливых случаях они помогали. Впрочем, этих-то мы и сами быстро раскусили: даже женщины очень крупные не носят ботинки, — офицер кивнул на ноги «духов», — сорок третьего размера.

Гляжу на носки здоровенных пыльных башмаков, выглядывающих из-под длинных, до самых щиколоток, дамских платьев, и думаю о том, что некоторые из исторических предшественников этих парней были более везучими.

Я провел на фильтрпункте около двух часов, хотя работы у афганских чекистов уже почти не было: практически все мирные покинули Южный Баглан. Двое солдат, позевывая, сторожили неудачливых «духов», а трое других начали жечь заросли камыша, чтобы ночью бандиты не смогли подойти незамеченными вплотную к пункту. Камыш был еще сырым после ночного ливня, и огонь занимался нехотя. Впрочем, и его хватало, чтобы погреться.

Минут через сорок в пятистах метрах от нас дорогу начала переходить отара длинношерстных овец. Животные непрестанно блеяли; следом за ними шли пастухи. Их было чуть меньше, чем овец в стаде, — человек девять: что-то многовато для такой отары. Вместе с майором МГБ Саидом Исмаилом, начальником фильтрационного пункта, человеком с печальным, но пронизывающим нас сквозь рентгеновским взглядом, мы подошли к стаду, даже не захватив автоматов: па-

стухи шли без оружия. На длинных рубахах каждого из них краснели значки «XXVII съезд КПСС». Они приветливо улыбались и что-то очень быстро говорили Саиду. Тот внимательно проверил их документы, а потом подозвал трех своих солдат, безуспешно поджигавших злосчастный камыш. Те подошли и молча отсекали пастухов от стада. Овцы удивленно глазели по сторонам, а Саид, быстро развернувшись, схватил одну из них и зажал промеж коленей.

— Хочешь и ее документы проверить? — вяло пошутил я.

В ответ он распорол ножом две толстые ворсистые бечевки, которыми спереди и сзади была опоясана овца, и вытащил у нее из-под брюха новенький автомат.

— Проверь-ка вон эту! — крикнул он мне, кивнув на соседку только что разоруженной овцы.

Я оказался не столь ловок и поймал ее лишь со второй попытки. Обняв овцу за «талию», я нащупал два автомата без магазинов и связку из трех гранат. «Моя агница побогаче», — подумал я.

Все остальные овцы тоже оказались беременны оружием, а на брюхе у самой большой мы обнаружили РПГ.

«Пастыри» всем своим видом изображали удивление, а один из них долго возмущался коварством душманов, решивших в «своих преступных целях использовать наивность мирных пастухов».

Дорога на заставу капитана Захарова была запружена транспортом и людьми. И поэтому пять или шесть километров, отделявших ее от фильтрационного пункта, мы одолели лишь минут за тридцать.

Небо, с каждой минутой все больше мрачней, в который раз за этот день грозилось проливным дождем. Мимо тащились пестрые автобусы, битком набитые крестьянами. За день люди устали, и с обычно веселых афганских лиц исчезли улыбки. Я хотел до наступления ночи обязательно добраться до заставы и повидать Захарова. В провинции Кундуз его имя овеяно легендой и известно в любом кишлаке.

Застава расположена в стратегически важном для «духов» месте — на стыке нескольких караванных путей. Контролируя этот нервный центр, Захаров перекрыл Гаюру кислородную трубку — наиболее короткий путь доставки из Пакистана боеприпасов, оружия, медикаментов и продовольствия.

Еще год назад Гаюр объявил Захарова своим личным врагом номер один, пообещав за его голову около пяти тысяч афгани. Не помогло. Тогда он послал на заставу под видом «доброжелателя» своего агента с предложением: «Переходи, Захаров, на мою сторону. Озолочу тебя и всех твоих жен. Гаюр».

Захаров поблагодарил лазутчика за лестное предложение, но Гаюру просил передать следующее: «Золото твое низкой пробы. Захаров».

— Гаюр расвирипел, — смеется Захаров и с удовольствием почесывает свою круглую голову с коротко остриженными волосами, за которой столь долго и безуспешно охотится Гаюр.

Мы сидим в солдатской хлебобулочной и пощипываем горячий кисло-сладкий хлеб. У Захарова такие здоровенные руки, что он свободно может взять одной из них буханку и спросить: «Ну-ка, отгадай, что у меня в кулаке?» От печи исходит нежное тепло, пахнущее уютной избой, спокойствием. Еще чуть-чуть — и мы окончательно перенесемся с ним в его родной поселок под Майкопом, про который он вспоминает, пойдя купаться на речку, потом растопим... Артиллерийская канонада возвращает нас в Южный Баглан, на заставу.

В прошлом месяце Гаюр попытался взять Захарова обманом: золото не помогло, выручит хитрость!

Приходит на заставу очередной «доброжелатель» и сообщает, что завтра в пяти километрах отсюда пойдет большой караван с оружием. Если Захарову дороги мирные жители окрестных кишлаков, он должен его уничтожить.

— Я быстренько проверил эту информацию через другие каналы, — рассказывает Захаров. — У меня много друзей среди местного населения — есть кого расспросить. Я очень хорошо живу с крестьянами здешних кишлаков. Никогда их не обманываю, делюсь продовольствием, раздаю сольярку. Если кто меня попросит выделить охрану, чтобы крестьяне могли спокойно вспахать землю, всегда иду навстречу. Словом, верные мне люди сообщили, что информация насчет каравана — ложь. План Гаюра стал ясен: он хотел,

чтобы я основные силы роты отправил в засаду, а он тем временем взял бы меня голыми руками. Нет, думаю, не пройдет! Я щедро поблагодарил гаюровского «доброжелателя» и вечером симитировал уход роты на засадные действия. Но лишь стемнело, все ребята вернулись обратно. И я оказался прав — интуиция не подвела: ночью Гаюр, подтянув сюда почти шестьсот до зубов вооруженных бандитов, атаковал заставу с четырех сторон. Ну и я его встретил соответственно — Гаюр драпал до самого Баглана без оглядки. Однако он мужик с выдумкой — на следующий раз решил действовать методом «от противного». Подсылает он «доброжелателя», который сообщает: «Многоуважаемый Захаров, завтра в пять часов дня Гаюр ударит по твоей заставе всеми своими силами — готовься». Я, как повелось, от всей души благодарю «доброжелателя», даю ему денег, муки, дров. А про себя смекаю: «Ага, ты, Гаюр, хочешь, чтобы я заперся в своей крепости, а сам тем временем проведешь караван, — нет, брат, опять не выйдет!» И точно: завтра ровно в пять дня идет караван из ста вьючных и десятка «тойотовских» пикапов — боеприпасов столько, что Гаюру бы на два месяца активных боевых действий хватило. Но мои ребята еще с ночи в засаде скучают — поджидают караван. Так вот и воюем мы с Гаюром — по принципу: кто хитрей, тот и выиграл.

27 мая Захарову исполнилось двадцать восемь. Приехал он сюда год назад. Первые четыре месяца ушли на изучение территории, обычаев и традиций местных крестьян, без чего здесь невозможно вести успешные боевые действия против «духов».

— Мне повезло с самого начала, — говорит Захаров, — бандам было не до меня: они все больше между собой цапались, а я под шумок караваны с оружием щелкал. Гаюр в очередной раз вернулся из Пакистана с приказом объединить в один кулак все враждующие отряды, а здешних жителей — агитировать уйти через границу, однако никто его и слушать не хотел. Тогда он, подлец, вот что придумал: чтобы вынудить их покинуть Афганистан, начал обстреливать мои позиции прямо из близлежащих кишлаков, чтобы вызвать туда наш ответный огонь. Provokatsii повторяться день за днем, но мы молчали — нельзя же бить по мирным. Кроме того, Гаюр всю пользуется и тем, что я не могу минировать в этих местах ни тропы, ни караванные пути, опять же из боязни ранить кого-нибудь из крестьян...

Захаров минут на десять вышел из хлебобулочной посмотреть, что делается кругом. Я все так же сидел, прислонившись спиной к теплой стене, и курил. Снаружи было уже почти темно. От печи веяло пряным теплом. Приятно было вдыхать его, расслабив все мышцы тела. Сквозь маленькое оконце видна луна. Она похожа на единственный светящийся иллюминатор далекого судна, стоящего ночью на рейде. Если долго смотреть, покажется, что судно едва заметно перемещается.

— Опять диверсия на трубе, так ее и раззатк, — чертыхнулся Захаров, хлопнув за собой дверью.

Один из взводов захаровской роты охраняет довольно длинный отрезок двух ниток трубопровода, по которому мы качаем в Афганистан топливо. Пробрить его ничего не стоит: кувалдой разок хорошенько вдарь — вот тебе и дырка. Зачастую «духи» заставляют это делать маленьких ребятшек, выплачивая за каждую пробоину по сто афгани. Но чаще они прибегают к иному способу. Несколько групп мятежников в разных местах выходят к трубопроводным нитям и подрывают их, устраивая большие пожары. При этом они минируют подступы к пробоинам.

— Сейчас это наверняка сделано для того, — объясняет Захаров, — чтобы отвлечь мои силы на тушение пожара и попытаться провести к Гаюру очередной караван. Так что давай отложим наш разговор до рассвета...

Пожар полыхал всюду, освещая сонные лица солдат из ремонтной группы. Это давало возможность саперам работать без фонарей. В ночное небо уносились клубы дыма и копоти. Мин не нашли, и уже за это можно было благодарить «духов».

Один из солдат, стоявших рядом, протянул мне несколько хрустящих галет. Я облил их еще горячим чаем из фляги, чтобы они не крошились.

— Что-нибудь найдется перекусить? — спросил меня сидевший на корточках сапер.

Я протянул ему в руки, измазанные сольяркою, одну уже размякшую галетину, и он принялся ее жевать. В глазах его бушевало пламя.

Что-то бухнуло неподалеку, и по земле пробежала слабая судорога.

— 122-миллиметровая гаубица,— сказал вышедший из тьмы подполковник. Он только что приехал с КП полка.— Гаюр мечется по блоку в поисках щели. Мы взяли восьмую и пятую улицы. Афганцы сейчас их прочесывают. Расстояние между обеими блокирующими группами минимальное, и артиллерии трудно работать: как бы своих же не накрыть.

Он протянул руки вперед, грея их на огне. Я отглотнул из фляги и передал ее подполковнику. В этот момент что-то резко вспыхнуло, точно распахнули леток домны. Секунды через две сквозь шум дождя и огня донесся разрыв. Видимо, стреляла безоткатка метрах в семистах отсюда.

Подполковник сказал, что час назад с южной стороны к блоку подошла еще одна банда, пытавшаяся взломать окружение, чтобы вывести Гаюра и его охрану. «Духи» воспользовались пожаром, дабы проскочить незамеченными вплотную к блокировке. Потом они извне и изнутри одновременно ударили по одному из стыков, но этот участок сейчас укрепили, подтянув два взвода из резерва. Взято много пленных, а один на допросе сказал, что Гаюр убит.

Я поздравил подполковника.

— Это типичная «деза».— Он отпил еще раз из фляги.— Ее уже второй раз пускают за три дня, чтобы мы ослабили напор. Но черт Ваньку не обманет: Ванька сам про него молитву знает.

Часам к трем ночи пожар затушили, предварительно перекрыв ток соларки. Пробитую трубу пришлось заменить. Теперь ее оттащили к дороге.

Подполковник подкинул меня до КП, а на прощание кинул бушлат:

— На, не будешь мерзнуть.

— Кому мне его вернуть?

В ответ он махнул рукой:

— Бери себе. Теперь уж он никому не нужен...

Я влез в БТР, по днище увязший в сытой грязи, и закрыл за собой люк, чтобы капли дождя не попадали внутрь. На соседнем сиденье спал в позе эмбриона пулеметчик. В кабине горела одна яркая синяя лампочка. Солдат, защищаясь во сне от света, поправлял зеленую панаму, прикрывая ею глаза.

Хотя внутри было теплее, чем снаружи, прежде, чем лечь, я надел бушлат, застегнув все до единой пуговицы. Бушлат был с погонами, на каждом по четыре маленькие зеленые звездочки. Отныне я был капитаном.

Я долго не мог заснуть и лежал, слушая спокойное дыхание своего случайного соседа. Руки никак не хотели согреваться, и я засунул их в глубокие карманы куртки. В правом я нащупал коробочку и вынул ее. Это были английские таблетки «Пуритабс Макси». Аккуратно сложенная в несколько раз инструкция гласила, что каждая таблетка может продезинфицировать двадцать пять литров воды: видимо, владельцу бушлата часто и подолгу приходилось бывать на боевых¹. В этой же коробке лежало пять желтых профилактических пилюль от гепатита. Обычно ими для страховки пользуются те, кто уже перенес однажды болезнь Боткина. На дне кармана шуршал песок вперемешку с табаком. Я поднес к носу ще-

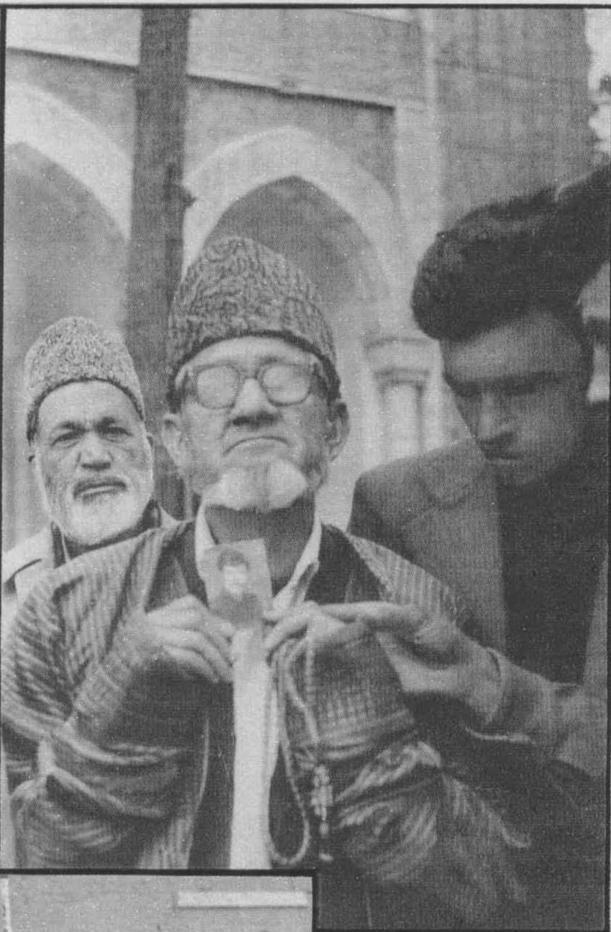
¹ «Боевые» — на солдатском жаргоне, боевые действия.

потку этого крошева. Она сладковато пахла «Амфорой» — трубочным английским табаком, который не перепутать ни с одним другим. Красный целлофановый пакетик «Амфоры» можно запросто купить за триста афгани в любом дукане. Были бы деньги.

Постепенно в моей голове начал складываться образ Неизвестного Капитана. Конечно, очень расплывчатый, но кое-что я уже знал о нем наверняка. Это был спокойный, немногословный человек, любивший поразмышлять на досуге: люлей много склада редко тянет к трубке. Рукава на локтях протерты, и в грубую материю ввелась земля: Капитан часто лежал в засадах. Сзади бушлат тоже сильно потрепан и слегка порван: его бывшему владельцу пришлось в досталь наездиться на броне. Карманы сильно оттопырены: он предпочитал держать руки там. Я представил походку человека лет двадцати восьми, засунувшего их глубоко в карманы в стылый, промозглый день, когда так и хочется поднять воротник, который, кстати, сзади оказался засален и изношен, а по бокам спереди протерт: у Капитана была жесткая щетина. Бушлат напоминал дом, навсегда покинутый его обитателями, в который ты случайно зашел и повсеместно находишь следы недавней жизни — разводы выкипевшего молока на конфорке или открытую баночку еще влажного гуталина на полу. Что сейчас с этим человеком, где он? И почему, думая о нем, я мысленно употребляю глаголы в прошедшем времени?

У меня возникла масса других вопросов, но ответов на них в правом кармане не было. Я не стыдился своего любопытства. В конце концов это такое же необходимое качество любого репортера, как умение печатать на машинке.

В левом кармане я обнаружил несколько засохших полевых цветков: был ли он сентимента-



Отец погибшего афганского летчика, чей самолет был сбит душманами.

Саперы извлекли эти мины из-под асфальта дороги всего за один час работы.



лен? На самом дне лежал обрывок бумажки, мелко исписанной убористым почерком. Все строки размыты, но две я разобрал в синем свете фонарика: «...глупое мое положение — быть влюбленным до безумия в собственную жену. Тем более глупо, если учесть, что знаем мы друг друга уже пятнадцать лет. Я часто...» — и в самом конце: «...приезжает Степунин, так что пришли с ним банку селедки...». Эх, сюда бы, в БТР, Холмса с его приятелем Уотсоном: они бы мигом ответили на все мои вопросы. Впрочем, как говорят, прототип Уотсона, доктор Брайтон, был в этих местах в составе британского экспедиционного корпуса. Сияясь вспомнить даты англо-афганских войн, я почувствовал, как на меня медведем наваливается сон.

Сквозь броню были слышны приглушенные взрывы и далекая стрельба. Как будто уши заткнули ватными тампонами. Вскоре мир вне БТРа потерял для меня всякое значение, и я заснул с едва теплившейся мыслью о Неизвестном Капитане.

Пулеметчик разбудил меня в шесть утра. Я открыл люк и выглянул наружу. Было уже светло, хотя тяжелое небо, низко висевшее над Южным Багланом, словно дымчатый светофильтр, очень нехотя пропускало солнечные лучи.

Артиллерия молчала, но густая автоматическая стрельба отчетливо раздавалась позади нас. Пулеметчик притащил каску, полную ржавой горячей воды, которую он нацедил из радиатора «уазика». Мы умылись, и от лиц наших шел пар. Съев баночку колбасного фарша, я подошел к другому БТР, что стоял за насыпью под слабо натянутой, провисшей от дождей маскировочной сеткой. Двигатель его работал, и можно было погреться в сладковато-влажных выхлопах отработанного горючего. Сидевший на нем офицер с синяками копоти под глазами в ответ на мой вопрос сказал, что он как раз едет на шестую улицу. Еще ночью она была в руках «духов», но только что ее взяли, и сейчас там работают афганские саперы. Сам он направляется туда через пару минут.

Шестая улица состояла из одних воронок, до краев наполненных серой водой. На обочинах лежали несколько десятков уже обезвреженных противопехотных и противотанковых мин, китайские автоматы и английские винтовки, несколько гранатометов и два пулемета.

Сам город Южный Баглан представлял собой головоломный (но уже полуразрушенный) лабиринт, который можно встретить на обложке любого детского журнала с короткой подписью: «Найди, как выбраться отсюда зайчишке». Разобраться в нем почти так же трудно, как в истинных мыслях и настроениях его недавних обитателей.

Когда мы вошли в один из взятых блиндажей, на земляном полу еще дымилась миска с бараньим пловом. Чуть в стороне лежали три трупа. Рука одного из них сжимала ложку. Тот, что был чуть поодаль, застыл, вцепившись пальцами в автомат.

В углу стоял термос. Уже трофейный. Он был неестественно тяжелым, хотя жидкости в нем не оказалось. Валерий Павлович Заломин, одним из первых ворвавшийся на эту улицу, сказал, что с подобными «сувенирами» надо быть поосторожней — обычно это мины-сюрпризы. Именно так и оказалось. Открутив дно термоса, я увидел, что колба облеплена черным пакистанским пластиком повышенной мощности.

— Сегодня вечером ты бы узнал механизм действия этой штуковины.— Заломин помял в пальцах кусочек пластика.— После ужина наливаешь ты в термос горячий чай, пластик моментально расширяется, и от повышения давления происходит взрыв. Так что это был бы последний чай в твоей жизни.

Во всех других укреплениях — дотах, дзотах, блиндажах в четыре наката, многоэтажных подземных складах оружия и госпитале — можно было искренне удивиться выдумке бандитов, богатству их неистощимого воображения: солдаты находили мины-зажигалки, мины-часы, мины-авторучки, мины-магнитофоны. Смерть-сюрприз пряталась и маскировалась столь виртуозно, что разглядеть ее во всех этих предметах мог лишь человек с наметанным на нее глазом.

Так завершились четырехсуточные бои за Южный Баглан. Однако среди убитых и раненых не удалось найти или опознать лишь одного человека — самого Гаюра. Между тем взятие его в плен было, как мне сказали, одной из целей операции.

Продолжение следует.

ВСТРЕТИМСЯ У ТРЕХ ЖУРАВЛЕЙ

АФГАНИСТАН: ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА



Артем БОРОВИК,
фото автора

Кабинет начальника Управления МГБ провинции Кундуз полковника Абдуллы Факир-заде до предела аскетичен. Ничего лишнего. Письменный стол, несколько стульев, жесткий (пожалуй, слишком) диван.

Сам полковник высок, сутуловат. Усами напоминает Буденного.

— По моим данным, — начал он, — Гаюр ушел в три часа ночи перед взятием последней, шестой, улицы, переодевшись в женское платье. Я допускаю, что ему удалось проскользнуть через один из блоков МГБ за большую взятку. Знаете, здесь всякое случается. Особенно если учесть большой процент малосознательных новобранцев из кишлачного населения.

Я рассказал о нескольких случаях дезертирства из афганских частей, происшедших в провинции совсем недавно. Полковник знал о них.

— Кроме того, — заметил я, — морально-политический дух во многих афганских подразделениях, которые довелось объехать, оставляет желать лучшего. Не каждый солдат может объяснить, за что в конечном итоге он воюет.

— Это серьезная проблема, — покачал полковник своей большой головой с гладко зачесанными назад угольными волосами. — Причин — не оправданий, конечно, — масса. Я называю лишь одну. Не хватает денег, солдат царандоя получает в пять раз меньше, чем повстанец в банде Ахматшаха. А продажа личного оружия? Пистолет на здешнем «черном рынке» идет за восемьдесят тысяч афгани, килограмм мяса — это я для сравнения — стоит 250 афгани: семью можно кормить целый год. Но мы в последнее время приняли ряд очень жестких мер для пресечения подобных случаев.

— Скажите, — спросил я, — как вы представляете себе Афганистан после вывода советских войск?

— Большинство банд, — он провел рукой по своим черным волосам, и мне подумалось, что ладонь его станет от этого тоже черной, — которые грызутся здесь за зоны влияния, прикрывают свой бандитизм разговорами о том, что они сражаются с «шурави»¹. Это делается для отвода глаз, чтобы американские конгрессмены могли со спокойной совестью

подбрасывать доллары в топку афганской войны. Когда уйдут советские войска, междоусобная грызня захватит всю территорию страны, но главари не смогут более маскировать свой террор прежними разговорами о «святой войне». Многие афганцы считают, что «шурави» не следует уходить до тех пор, пока банды не разберутся между собой и в массе своей не изменят феодально-местническую идеологию на общенациональную. Понимаете, контрреволюция боится вас, и страх этот сдерживает ее от развязывания широкого террора.

Усы полковника Абдуллы Факир-заде полностью закрывали его постоянно говоривший рот, а мощный, в треть лица, до стального блеска выбритый подбородок при этом почти не двигался. И потому иногда казалось, что речь его льется из глаз цвета южной беззвездной ночи.

— Сейчас, — сказал он после короткой паузы своим глуховатым спокойным голосом, — сюда приведут пленного муллу, того, что исполнял функции судьи в кишлаках вокруг Имамсахиба и прославился редкой жестокостью по отношению к сочувствующим революции. В доказательство того, что он никогда не держал оружия и не убивал, мулла покажет вам свои нежные с голубыми прожилками руки. Но не верьте: они по локоть в крови. Он убивал, казнил, расстреливал, обрезал уши своими вердиктами. Эй, вводите пленного!

Но пленного никто не вводил. Он открыл дверь и вошел сам.

Лицо этого маленького щуплого человека лет пятидесяти являло собой символ высших людских добродетелей. Здороваясь со мной, он почти до плеч закатал рукава своего балахона. Если бы я не видел его лица, решил бы, что эти руки могут принадлежать лишь семнадцатилетней девушке, чьи родители с детства оберегали ее от трудов, грязи и солнца. Или пианисту, привыкшему дотрагиваться лишь до нежной клавиатуры рояля.

Впрочем, как и все допросы пленных, на которых доводилось присутствовать, этот тоже оказался скучным и не менее бессмысленным. У меня сложилось впечатление, что все «духи» говорят по одному сценарию, приготовленному загодя. Я привык видеть на их балахонах значки с изображением профиля Ленина, значки в форме красного знамени.

Я много читал и слышал о религиозном фанатизме этих людей и потому всегда удивлялся тому, как легко они отрекаются от Аллаха и клянутся в любви к «неверным». Помню, как в Баграме прошлым летом мы дали взятку в плен душману немного спирту — он здорово продрог в ночной засаде. Парень выпил и сладострастно улыбнулся, прося еще. Ему разрешили закусить тем, что было на столе, — тушенкой. Я тогда спросил его:

— Разве позволительно солдатам Аллаха пить спирт и есть свинину?

— Мы под крышей — Аллах не видит, — ответил он, указав на потолок.

Этот мулла, истово поклявшись в верности идеалам революции, сказал, что единственная боль, которую приносил людям, была вызвана обрядами обрезания. Но это — святая боль.

По разведанным известно было, что он всячески поощрял Ортабулаки на обстрел советской территории в районе Пянджа. Мулла, естественно, это отрицал.

— Когда начался обстрел, я решил, что идет бой между двумя враждующими бандами, — сказал он.

Знали мы и о том, что он вынес незадолго до обстрела Пянджа смертный приговор киргизу Абдулле и четырем его сыновьям, решившим перейти на сторону народной власти. Факт этот был широко известен в районе Имамсахиба, и мулла не мог отрицать его. — Я был против казни, — сказал он, отхлебнув из пестрой пиалы уже остывшего зеленого чая. — Но Ортабулаки посоветовали мне готовить для себя кафан², если я откажусь подписать смертный приговор.

— Скажи, как бы ты поступил, — спросил я его, — если бы Ортабулаки заставили тебя судить русского? — Задав этот вопрос, я представил себя в положении военнопленного, а его — в роли своего судьи. Мне стало немного не по себе.

— Ни Ортабулаки, ни Халиф никогда не просили меня об этом. — Он развел в разные стороны свои нежные руки.

— Ты стар и мудр, — сказал я, указав глазами на его седины, — скажи, что здесь будет после ухода советских войск? Говори откровенно: тебе ничего не сделают.

Мулла и без меня знал, что он в безопасности. Может быть, даже большей, чем у себя в кишлаке. Он внимательно осмотрел свои руки с кончиков ногтей и до плеч: рукава все еще были закатаны.

— После ухода «шурави» банды начнут междоусобную войну за земли, — сказал он. — В этом никто не сомневается. Будет очень тяжело, и прольется много мирной крови.

Мулла увели. Полковник Абдулла Факир-заде захлопнул за ним дверь, как-то печально улыбнувшись старику вслед. Он откусил кончик от ку-

бинской сигары, закурил и, выпустив пару грозовых туч прогорклого дыма, сказал:

— Киргиза Абдулла и его четырех сыновей расстреляли на рассвете. Самому младшему пуля вошла в плечо. Ночью он выбрался из-под трупов отца и братьев, а к рассвету следующего дня добрался сюда. Этот парень нам и сообщил, что именно мулла был инициатором казни.

— Скажите, — спросил я полковника, — правда ли, что Гульбиддин, один из лидеров контрреволюции, окопавшихся сейчас в Пакистане, родом из Кундуза? Насколько мне известно, именно поэтому он с особым пристрастием относится к тому, что происходит в этой провинции.

— Задайте-ка этот вопрос Мухаммаду Ясину, секретарю партийного комитета провинции. Дело в том, что Гульбиддин и Мухаммад Ясин учились вместе.

На этом беседа закончилась. Я простился с полковником Факир-заде, искренне пожелав ему успеха.

— Ну, как вы побеседовали в МГБ? — встретил меня в своем маленьком дворике Мухаммад Ясин, круглый, юркий человек лет сорока. Я рассказал ему. Потом сразу же спросил про Гульбиддина.

— Знаете, я ведь учился с ним в одном классе. Но потом его выгнали за гомосексуализм.

— Неужели?

— Гульбиддин еще тогда отличался разными выходками. Он и его сообщники, увидев на улице женщину без чадры, прыскали ей в лицо кислоту. После этого она вынуждена была всю оставшуюся жизнь ходить под чадрой. Так он боролся за «чистоту ислама». В студенческие годы Гульбиддин сошелся с западными преподавателями местных лицеев — они готовили кадры контрреволюции загодя. Между прочим, до сих пор Афганистан кишмя кишит американскими, западногерманскими и английскими, так сказать, преподавателями. Они вербуют себе рекрутов.

Мухаммад Ясин сделал короткую паузу. Потом продолжил:

— Я четыре года учился в Румынии в аспирантуре. Очень тогда увлекся историей второй мировой войны. Иногда мне кажется, что лидеры контрреволюции многое переняли у Гитлера. Их замысел состоит в том, чтобы приобщить возможно большее число людей к преступлению, которое они именуют «святой войной». Понимаете, если преступление приоб-

² Кафан — белая материя, в которую здесь оборачивают умершего перед погребением.

¹ «Шурави» — советские.
Продолжение. См. «Огонек» № 28.

ретаёт массовый характер, оно вроде бы и не преступление, а норма. По крайней мере Гульбиддин именно так и полагает. Гитлер тоже стремился привлечь максимум немцев к преступлениям вермахта. Ну, а если солдат начнет размышлять над своими деяниями, у него возникнет что-то наподобие «комплекса вины».

Мой собеседник разлил в пиалы зеленый крепкий чай и придвинул вазочку с грецкими орехами.

— Если же у солдата возникает «комплекс вины», — Ясин щелкнул орехом, — солдат дерется одержимо. Ему нечего терять. Он сделал ставку, выбор. Но члены «семерки» никакие не идейные вдохновители контрреволюции. Они самые низкопробные жулики.

Он принес папку с газетными вырезками.

— Ведь дело дошло до того, — сказал он, разбирая свое мини-досье, — что даже американские конгрессмены начали обвинять «семерку» в разбазаривании средств и коррупции. Сенатор Гордон Хэмфри, главный защитник интересов контрреволюции в американском конгрессе, недавно сам признал, что растранирование средств достигло...

Ясин надел очки и низко склонился к листам на столе:

— ...достигло «скандальных масштабов». Вследствие мошенничества моего бывшего однокашника и его приятелей семьдесят процентов помощи, предоставляемой Соединенными Штатами повстанцам, не доходит до адресатов, которым она была предназначена. Откуда, я вас спрашиваю, взяли у Гульбиддина деньги, чтобы открыть антикварную лавку в центре Лондона, а? Вот и я не знаю. Вернее, теперь знаю.

...Время меня поджимало, а надо было задать еще один вопрос.

— Скажите, — спросил я, — а как обстоят дела с национальным примирением у вас в провинции?

— Сложно, — без обиняков признал Ясин, — не так хорошо, как рассчитывали поначалу. Сразу же после 15 января (по вашему календарю) душманы резко — в четыре-пять раз — увеличили количество обстрелов советских и наших гарнизонов. Так что военное положение обострилось. Банды даже предприняли обстрел территории СССР, на что раньше не решались. Но это была пропагандистская акция. И все-таки определенные результаты в плане примирения у нас есть. Лишь за три первых месяца на сторону народной власти перешло около ста вооруженных людей. — Он опять заглянул в свое досье. — Из 433 кишлаков провинции 290 под нашим контролем. В 143 кишлаках прошли выборы в местные органы власти. В уезде Ханабад более 200 повстанцев теперь готовы создать племенной батальон. Однако возвращению беженцев по-прежнему мешают и «семерка», и Пакистан.

Гульбиддин самолично призвал людей оставаться по ту сторону границы. А когда все же возникла реальная угроза их массового перехода через линию Дюранда, Пакистан придвинул ближе к ней 17-ю танковую дивизию, а Гульбиддин распустил слух, что для возвращающихся Наджиб приготовил концентрационные лагеря. Все эти меры не помогли. Тогда они решились на прямую закуп людей: если до нынешнего года каждый член семьи беженцев вне зависимости от возраста получал 50 калдаров в месяц, то после 15 января эта сумма возросла на 100 калдаров. Заработок средней семьи подскочил до 10—12 тысяч афгани — в пересчете на наши национальные деньги. А столько беженцы никогда бы не смогли при всем желании заработать, находясь в Афганистане. Так что все сложно...

Он заметно помрачнел, а мне стало

неловко за то, что я, видимо, испортил ему настроение. Мы распрощались.

...Дождаясь пары МИ-восьмых у самой ВПП, я залез в стоявший на прочном приколе полуразбитый чехословацкий «Альбатрос». Его винты нехотя вращались на ветру. Внутри похрапывал здорово обгоревший на солнце солдат. Усевшись в пилотское кресло, я закурил.

В самолете было зябко, густой сигаретный дым согревал легкие, и от этого казалось, что становится теплее если не телу, то хотя бы на душе. Потом я перешел в здание аэродрома. Несколько офицеров с баночками «SIP» — газированного апельсинового напитка в руках сидели и смотрели телевизор.

Пастор Шлаг деловито примерял лыжи. Потом Штирлиц долго плутал по Берлину. Завыла сирена, и люди побежали в бомбоубежище. Потом заработала артиллерия. Но не под Берлином, а севернее Кундуза. Минут через пятнадцать, когда Штирлиц опять был на грани провала, послышался рокот садившихся «пчелок».

Пяндж — маленький таджикский городок, расположившийся в трехстах метрах от границы на советской стороне. В трехстах метрах от войны.

Никогда в жизни мне не доводилось видеть такой границы. Я имею в виду не стольно линию, обозначающую пределы государственной территории, сколько границу во времени, границу между двумя укладами жизни, двумя философиями. Между миром и войной. Она тем более разительна, если учесть, что по разные ее стороны оказались люди единой национальности — таджики. Но одни живут в 1987 году и при социализме, а другие — в 1366-м (мусульманский календарь) при феодальном строе с родоплеменными пережитками, если по-научному. И не нужна тебе никакая машина времени: просто сядь в Ми-8 и попроси пилота подбросить тебя из Кундуза до Пянджа. Вот и все. Вертолет моментально перенесет тебя из одной системы координат в другую.

В трехстах метрах от Пянджа, точно морской прибой, грохочет война. Она слышна ночью и днем, не давая забыть о себе.

Но случилось непредвиденное: однажды она все-таки перекатила через границу и унесла с собой из города, утопающего в море теплых хлопковых полей, двадцатипятилетнюю жизнь.

...Банда Ортабулаки начала обстреливать Пяндж зрсами восьмого марта в 22.55. Но еще за пять минут до этого Зайнидин Норов, веселый двадцатипятилетний парень с челкой жестких черных волос на лбу, сидел в своей комнате.

— Сидел и разглядывал журнал. Потом он его отбросил на кровать. Я так думаю, — рассказывал мне брат Зайнидина, — что это был очень скучный журнал. Улыбка не сходила с губ Зайнидина: весь вечер он гулял по городу с Гульчехрой, своей невестой. Они собирались пожениться в мае...

Грохот сотряс дом до основания. Зайнидин, вскочив со стула, выбежал на улицу. В эту же секунду он почувствовал сильный удар сзади промеж лопаток и стал медленно валиться, пытаясь выбросить вперед тяжелые руки. Он упал. Его легкое, поджарое тело ударилось о землю. Он обнял ее ослабшими руками и прижался щекой, словно хотел услышать слова последнего напутствия.

Но больше он уж никогда ничего не видел и не слышал.

Это произошло в 22.57 беззвездной весенней ночью восьмого марта в маленьком таджикском городке Пяндж, утопающем в море теплых хлопковых полей.

— Знаете, он скончался прямо на улице, — сказал мне отец Зайнидина, — без мучений.

А потом вдруг задал самый печальный в мире вопрос, который так часто слышишь на войне: «Только не могу понять: почему именно его?» Вопрос, на который никто никогда не даст ответа.

Снова окно видна худенькая фигурка матери: плечи ее судорожно подпрыгивают, но из глаз уже не льются слезы. Она стала старухой в одну ночь. Холдона Норова не смотрит на меня — ведь я пришел «оттуда», откуда в этот дом пришла смерть. Я чувствую свою безмерную вину перед ней, и мне моя вина не кажется странной. Но я все равно стараюсь не глядеть в ее сторону. Я избегаю этих глаз, как избегаю глаз Гульчехры. Кто она теперь — невенчанная вдова?

Вертолет уносит меня обратно — «туда». Тень его скользит за нами следом по рыжим топам. Утки шаркают в стороны. Мы первыми пере-

секаем границу. Мы уже «здесь», а наша тень еще там. Я гляжу на вертолетчика, мчащего меня на восток. Он похож на пловца, сделавшего глубокий вдох перед тем, как нырнуть в воду. Я помню каждую минуту из трех часов без войны...

— Время здесь безразмерно, как синтетические гонконгские майки: сам увидишь, — сообщил подполковник Владыкин, встретивший меня на аэродроме. — Иногда оно сжимается, и не успеваешь сознание зафиксировать начало одной недели, как ей на смену несется другая. А порой один день имеет такой же объем, как... — он оглянулся вокруг, словно подыскивая сравнение, — как жизнь.

И если учесть, что при помощи вертолетов ты за день успеваешь побывать в нескольких пунктах, удаленных друг от друга на сотни километров, близко сойтись с десятком новых, ранее совершенно незнакомых тебе людей, которые почему-то говорили тебе все или почти все, да так, что их жизни становились частью твоей жизни, твоего опыта и ты начинал загодя вместе с ними любить их друзей, детей, даже жен и ненавидеть все то, что ненавидели они, — так вот, если подумать обо всем этом, сразу же согласишься с Владыкиным:

— Верно, верно, Юрий Иванович, — «как синтетические гонконгские майки». Да вам писать надо! А вы, случаем, промеж боевых вылетов не балуетесь, а?

— Балуюсь. Иногда, — отвечал он. — Вот сколько бумаги измарал.

Он протянул мне толстую тетрадь в клеточку за 48 копеек, исписанную прямым аккуратным, по-военному четким почерком. Глянув в нее, я подумал, что вот и он сам, должно быть, такой же прямой, аккуратный и четкий человек, как и его почерк.

— Почитаешь когда-нибудь, когда вспомнится Афганистан или московские докуки одолеют.

— А не жалко? — спросил я.

— Жалко умирать, а это... — Он махнул рукой, больше привыкшей к ручке управления вертолетом, чем к карандашу, которым были исписаны листки тетради.

Обнявшись, мы простились. Я посмотрел ему вслед. Он бежал сбоку от ВПП, на ходу натягивая свой потрепанный «ЗШ». Вскоре он исчез за дверцей вертолета, понуро свесившего к земле лопасти винта...

Без вертолетов репортеру в Афганистане не обойтись. Они делают тебя вездесущим. Здесь ты привыкаешь к ним, как в Москве привыкаешь к такси: не хватает лишь шашечек на их дверцах.

Но еще больше, чем летать на вертолетах, тебе приходится ждать попутного борта, голоса на жарких аэродромах у самой ВПП, колеблющейся вместе с горячим воздухом. После серии отказов и томительного сидения под слепящим солнцем у меня обычно возникало какое-то полуреальное ощущение, что просто-напросто просишь подбросить тебя до Арбата, а сквозь форточку слышишь неумолимое: «Я в парк — не видишь?»

Вертолеты — это современная кавалерия войны, переносившая тебя без усталости из одного конца Афганистана в другой. Вертолеты садились на крохотные площадки между отвесных круч, высаживая десант. Вертолеты взмывали в поднебесье из мрака бездн, забирая раненых. Они чуть ли не влетали в пещеры и дувалы, откуда били пулеметы. Вертолеты вереницами и целыми стаями проносились по дну ущелий, настолько узких, что от кончиков лопастей до скал по обе стороны оставалось не более трех метров. И тогда все пересыхало внутри тебя, потому что ты знал — стоишь винту краешком коснуться камней, как он разлетится вдребезги.

Вертолетчики, пролетавшие здесь хотя бы с месяц, демонстрировали под грохот «духовских» минометов и ПЗРК все чудеса высшего пилотажа, начиная от боевого форсированного разворота на «горке», пикирования под углом в тридцать градусов, когда ты разом охватываешь взором землю от горизонта до горизонта, и кончая кобрированием, а это уже с элементами самолетного пилотажа. Они вытворяли в небе, рвавшимся на части от разрывов, все, кроме «бочки», что вертолету не дано сделать даже теоретически, и «мертвой петли», не сколько раз исполненной западными немцами и американцами. Но это цирк, а я — про войну.

Когда летишь на вертолете, разговаривать невозможно — только орать. Но от этого быстро устаешь и, чтобы не терять времени даром и всасывать хоть какую-то информацию, начинаешь читать заводские штампованные надписи на стенках. Или то, что нацарапали десантники, а это, как ни крути, уже военная литература солдат. На одном сиденье я прочел: «Не переживай, всякое бывает. Пусть переживает тот, кто забыл тебя. Не грусти о прошлом. Просто верь в себя». А на другом — «Не суетись!» Звучало как приказ.

Когда-нибудь Афганистан даст своих Бондарева, Быкова или Бакланова. Но пока что они пробуют свои перья на сиденьях вертолетов. Романы — впереди.

Вертолеты пролетали в нескольких метрах над головой, вдавливая тебя вселенским грохотом своих двигателей в дно эспэсов¹, а следом по лицам солдат проносились их призрачные тени. Они появлялись из тьмы, что простиралась позади, и уходили прямо в оранжевые рассветы и фиолетовые закаты, оставляя лишь дрожь в скалах да зуд в плотно прижатой к земле груди.

В прошлом году, я помню, вертолеты ходили на предельной высоте, но теперь, с появлением «Стингеров», они спустились с шести тысяч (приблизительный потолок для Ми-8) и носятся в пяти метрах от земли со скоростью 250 километров в час, прачась в складках местности и между сопками, облетая кишлаки за три километра (дальность прицельной стрельбы из пулемета) и пугая в панике разбегающиеся отары овец.

Летать на предельно малых высотах в чем-то безопасней, а в чем-то и нет: вдруг шасси заденет высоковольтку или ветку дерева, и тогда «вертолетный комплекс» дополнит весь тот набор комплексов, которые ты тащишь на себе с детства.

...Жара стояла адская. Владыкин давно улетел, а я все сидел на аэродроме в ожидании «уазика» из подразделения десантников. В моем нагрудном кармане лежала скрученная в трубочку тетрадь — дневник вертолетчика Ю. И. Владыкина. Я решил полистать его. Это тоже была литература о войне, точнее, литература, написанная самой войной. Я открыл первую страничку:

«25 ОКТЯБРЯ
Голова после четырех часов полета в бронированном шлеме-горшке тоже становится бронированной.

4 НОЯБРЯ
Все основные понятия боевой работы прочно вошли в каждого из нас и уже не вызывают былых всплесков эмоций. Уставший человек слабо реагирует на все, кроме писем из дома. Ноябрь делит два времени года в нашей работе. Он тоже стал верстовым столбом. Первого ноября на высокой площадке в горах погиб командир Ми-8 старший лейтенант Шинников Сергей. Меня потом туда высадила командир, и впервые я увидел, как жутко скалятся обгоревшие черепа. Два солдата и Серега не успели выскочить из горящей машины. В стороне — переднее колесо, блок с НУРСами и лужа расплавленного металла. Хотели сразу же вытащить, но когда приблизились, разорвалась метрах в пяти граната. Летел вместе с обуг-

¹ СПС — стационарный пункт для стрельбы.

ленными. Два два-три от комбинезона пахло жареным мясом.

7 НОЯБРЯ

По телевизору подготовка к демонстрации на Красной, а смотреть уже никогда: на Черной горе Валера Савченко прикрывает под сильным огнем своего ведомого. Тутова сбился ранетой. Он невозмутимый и спокойный парень. Экипаж выбросился на парашютах с высоты 150—200 метров. Киселевич и Тутов — нормально, а Головкову не хватило высоты, всего метров десять. Приземлились они прямо в духовое гнездо. Тутов в пяти метрах увидел «духа». Успел первым выстрелить Тутов. Забили под огнем. Думал, собьют. Обошлось.

15 НОЯБРЯ

Десант на Черную гору — туда, где упал Тутов. Тридцать минут — спокойно, а потом начали стрелять даже камни: так много огневых точек. Внизу — «пчелки», сверху — мы. Большое — без натяжки — мужество нужно тем, кто на «пчелках»: площади трудные, десантников — уйма. Стреляет каждая сналка. Кто во второй раз, говорят: не слаще Панджшира. Кручушь над площадной уже второй час, БК¹ чуть-чуть осталось. Экономим, стреляем только по «сварке»². Несколько раз давили «прислугу»³, но каждый раз прибегала новая. Витя Буяшкин проходит над пиком, где только что подавили «сварку». На моих глазах по нему в упор несколько очередей. Пробит весь правый борт, разбита «сигара»⁴. Задымил его ведомый Никулин и без связи пошел на вынужденную. Никулина прикрывает Матвеев, а я с Гергелем остался над площадной. Никулин сел нормально. Кричал ему: «Сбрось блоки!» (чтобы облегчить вес). Он не услышал. Все живы, но двое переломаны. Федорич, наверное, летать не будет. Летчики летали без ног, но без рук не летали. А вечером этого же дня взлетел Витя Буяшкин, но на аэродром не вернулся. Забили его ночью...

12 АПРЕЛЯ

Прошел март. С четвертого по семнадцатое был дома. Невозможно передать словами, что это такое — встреча после длительного расставания. И вот опять в Афганистане. За века ветер здесь сровнял многие вершины старых гор, но пики наиболее высокие, напротив, еще сильнее заострились. Он прорезал ущелья, продолжил в кручах сквозные отверстия. По всей видимости, этот самый ветер, поднимая песок и соленую пыль, сдирает с людей всю внешнюю шелуху, плесень, оставляя нас в первозданном виде. Сильные и слабые — это понятия спорные, но все же есть какой-то минимум необходимых качеств, не достигнув которых человек не может рассчитывать на доверие своих товарищей на этой земле. Есть люди даже с первого вылета надежные, как добротные патроны. И есть такие, как облака над горами, — чистые, светлые, высоко парящие над землей. И все же при большом и значительном это не строительный материал. А есть еще и «середняки». На первый взгляд они мало заметны. Их и к наградам представляют в числе последних. Но это, пожалуй, самые надежные люди. Таких хлопцев можно сравнить с хорошей землей, на которой вырастают хлеб и цветы. Глядя на розы, мы редко восхищаемся той землей, которая вырастила красоту. Таких людей у нас большинство.

Сегодня — День космонавтики. Красивое, нужное и громкое дело — космонавтика, но все-таки можно было бы учредить и День интернационалиста...».

«Узик» подскочил неожиданно, прямо по ВПП, и через минуту мы уже гнали на запад. Слева и справа мелькали алые пятна маков, безобидных на вид, но таивших в себе наркотический призрак, который после долгих мытарств по белу свету обретет наконец плоть в виде блеклого порошка, чтобы превратиться в грезу или галлюцинацию наркомана где-нибудь на 12-й стрит Манхэттена. Не захочешь, а поверишь, что и цветы имеют душу. «Переселением» маковых «душ» из Афганистана в другие страны занимается контрреволюция, для которой наркотика — один из крупных финансовых источников, позволяющих закупать современнейшее оружие. Так что житель 12-й стрит Нью-Йорка — лишь временное пристанище для призрака этого очаровательного цветка на длительном пути его бесконечных трансформаций из наркотика в «Стингер» или «Рэд ай». А так — цветок себе как цветок, даже в голову не придет, что он мо-

жет сбить вон тот Ми-8, что завис над городом.

Среди маковых полей бегает нагншом ребятишки. Но вот один из них провел по телу рукой, и на ладони уже горсточка пыльцы. Той самой... «Бачата» скатывают ее в темные липковатые шарики и предлагают их вам за пару сотен афгани: «Командор, кайф!» — кричат они на чистом русском.

На обочине стоит верблюд. Он оскорбительно надменен: смотрит на вас сверху вниз. Правда, у него глаза мудреца, а мудрецам прощается все. Или почти все.

Какая же связь между верблюдом и маковыми полями? Прямая. Километра за два-три до границы торговец положит с десяток целлофановых пакетиков с белым порошком верблюда на язык, и тот проглотит их, не пережевывая. А минут через сорок, когда граница останется позади, животное отрыгнет их, и пакетики опять окажутся в сумке мирного странника. Вот о чем думаешь, глядя во влажные фиолетовые глаза этого мудреца с горбом, в которых земля и небо поменялись местами.

...Яростно устремленные вверх пышные кроны джелалабадских деревьев походят на застывшие взрывы — красные, белые, зеленые.

Наридж здесь уже зацвел, и потому город утопает в его пряном аромате. Мы побыстрее проскакиваем эвкалиптовую рощу, которую наши давно окрестили «соловьиной». По вечерам здесь очаровательно поют пули на смертельный мотив — заслушаешься. Они прямо-таки заливаются потусторонними трелями. Музыка, так сказать, Запределья.

Зимняя резиденция бывшего короля Афганистана — вся в сиреневом цвету. В самом дворце обилие мрамора. Стены, колонны, полы. Даже многочисленные туалетные комнаты отделаны этим камнем. Унитаз смахивает на постамент для еще не изваянной скульптуры какой-нибудь энергичной, драматической лепки. Мрамор всегда напоминает мне музеи. Музеи — кладбища, особенно католические. В резиденции сейчас никто не живет. Кроме того, взрыв почтового здания Джелалабада, произведенный недавно «духами», повывивал во дворце окна. От этого он еще больше помрачнел и напоминает усыпальницу самому себе. Однако уже два года мэрствующий в городе Гулям Саид начал ремонтировать бывшую резиденцию.

Диверсии в городе против сочувствующих народной власти идут одна за другой. Недавно душманы до смерти забили камнями председателя Комиссии по национальному примирению провинции Нангархар Мирзу Инаятоллу и его больного сына.

Гостиница, которую только что восстановили из руин наши солдаты, предназначена для беженцев, идущих из Пакистана. Афганцы отродясь не видели такого комфорта. Однако душманы пустили слух, что это тюрьма. Слухи — тоже оружие, которым умело пользуется контрреволюция.

У гостиницы стояла женщина в чадере, с ребенком на руках. Ребенок умер по дороге из Пакистана еще несколько дней назад, но она по-прежнему никому не отдавала мальчика. Тельце его одеревенело, став синим. И это было самым страшным из того, что я видел в Афганистане...

Успех засадных действий, как, пожалуй, никаких других, в столь значительной мере зависит от воли случая, а между тем ожидания так часто обманывают нас, что изначально я решил настроиться на неудачу: еще один безнадзорный способ пережить судьбу. Но что такое удача? Подловить «духов» и вступить с ними в ночной бой, когда не сразу определишь, кто в кого стреляет, а

тем более кто выйдет победителем? Или вхолостую прощелкать от холода челюстями (и, быть может, лишь раз затвором) всю засаду напролет, но уйти без единой царапинки, пристрелив разве что скорпиона? Для людей на войне, конечно же, первое. Для большинства людей. Второй вариант лишь раздражает своей бессмысленностью.

Ранее утро обещало испепеляющую жару днем, и каждый из тех, кому предстояло вечером идти в засаду, жадно, каждой клеточкой тела впитывал уже растворяющуюся в лучах рыжего солнца рассветную прохладу. Мы выстроились на плацу, по которому ветер гонял пыль и пустые зеленые баночки из-под сухпайковского сока, застыв, как стая гончих. Нам предстояло пробежать с полной боевой выкладкой шесть километров вокруг расположения батальона.

...Пот начинается натираться градом уже на второй сотне метров — месь организма за безалаберную мозговую жизнь. Из боязни мин и возможного обстрела со стороны «зеленки» дорогу перекрыли несколько боевых машин пехоты на километровом отрезке, заранее проверенном саперами.

Битком набитый рюкзак бьется с остервенением о взмыленную спину, фляга трепыхается на боку. «Калашников» норовит дулом выбить зуб.

Наконец пятьдесят десантников, включая одного репортера, покрывают шесть тысяч метров за тридцать две минуты с секундами.

Подготовка к выходу в засаду начинается сразу же после завтрака: экипировка, получение боеприпасов и средств связи, чистка оружия. Каждый из нас потащит на себе сегодня ночью до шестидесяти килограммов: патроны для автомата, бронжилет (а попросту бронетельник), спальник, ватный бушлат, боекомплект для гранатомета, дополнительная пулеметная лента, сухпак, автомат, две фляги с водой, нагрудник с шестью магазинами, осветительные и сигнальные ракеты, пироканел... Всего не перечислять, но уложить надо.

Что-то случилось с погодой: дождь и ветер за окном каптерки чередуются так быстро, как меняется настроение лишь у неврастеника.

Запихиваю перевязочный пакет в железный приклад автомата и обматываю его резиновым жгутом. Ампулу с промедолом и три батареи для бинокля ночного видения засовываю в рюкзак.

За время, проведенное в Афганистане, моя экипировка стала невообразимо пестрой и теперь представляет собой интернациональную смесь. На трофейном духовском рюкзачке штамп «Ю. Эс. Арми». Спальный мешок на гагачьем пуху английский. Инструкция внутри гласит, что «спальник предназначен для британских солдат, воюющих в арктических условиях». Шит он в 1949 году. Какой солдат таскал его на своем хребте 37 лет назад и где гниют сейчас его кости? Термосу не повезло — он безродный, на нем нет вообще никакого штампа. Но лично для меня он навсегда останется южноафганским. Я долго выковыривал из полости вокруг его колбы черный пластик, и вот теперь термос исправно держит любую жидкость, но, правда, не температуру. Ничего, сойдет и как фляга. Ну, а куртка цвета хаки на толстом искусственном меху — дело рук Пакистана. Потому она так и зовется — «пакистанка». В поход берется то, что максимально удобно и легковесно. Однако объединяет нас всех, помимо, конечно, предстоящей засады, нимрящая обувная фабрика. Все пятьдесят десантников в ее кроссовках, которые солдаты зовут попросту «нимры». Они дадут фору любому самому прочным «адидасам», неизбежно разваливающимся после первой же сотни километров по каменистой пустыне или горной тропе. Уж не знаю, что считают по этому поводу наши отечественные военные легкомысленники, заботящиеся об обмундировании советских солдат, но что думают об их продукции сами солдаты, вынужденные за личные деньги (24 рубля с копейками) покупать «нимры» в военторговском магазине, я знаю. Так что в классических голубых беретах и до сияния начищенных сапогах десантники воюют лишь в кино.

В каптерке тихо и темно. За окном по-прежнему сражаются ветер с дождем. Солнце мастерски маскируется за тучей. Входит Владик Джаббаров, напевая почти про себя одну и ту же фразу: «Умом ты можешь не блистать, но сапогом блистать обязан... Там-парам-пам, там-парам-пам...»

— Верно пою? — обращается он к Сане Склярю, дремлющему наверху двухэтажной койки. — И ты, Брут, спишь...

Джаббаров достает из коробок па-

троны и начинает их распихивать по магазинам. Мимо окна проходит патлатый малый с рыжей бородой.

— Не беспокойтесь, — успокаивает меня Владик, — это электрик. Они гражданские.

Впрочем, на местном солдатском жаргоне Скляр и Джаббаров тоже «граждане», только в другом смысле — через пару недель им заменяться.

Скляр спит крепко, но время от времени начинает во сне что-то яростно доказывать. Он делает это так убедительно, что тому, с кем он сейчас спорит во сне, хочется сказать: «Не перечь, Скляр знает, что говорит».

Отдыхают все пятьдесят ребят, которым ночью предстоит 20-километровый марш по степи и засада. Потому эти полтора часа, выделенные командиром для сна, стараешься использовать максимально в журналистских целях: ночью уже не поговоришь.

По-разному рассказывает о себе солдат. Один длинно и обстоятельно, и ты лишь поспеваешь переворачивать листки в блокноте. Другой излагает все пережитое скупым армейским языком, почти по-уставному. Третий ограничится коротким словцом либо жестом, но столь емким, что стоит полторачасовой изматывающей беседы. А иные рассказывают так ярко, что ты невольно становишься одним из действующих лиц повествования.

Мне встречались солдаты, умевшие импрессионистски точно передавать все оттенки своих ощущений. Но бывали и такие, которые выкладывали тебе голую информацию, замечая: «Эмоции добавишь сам».

Все отпущенные полтора часа мы проговорили с Джаббаровым и проснувшимся Скляром под слишком тяжелый рок, вырывающийся из мощного «Шарпа», что стоял на полке среди личных вещей ребят. Мне всегда казалось, что рок и война, рок и патриотизм, рок и интернациональный долг — понятия из совершенно разных вселенных. Но в этой маленькой каптерке, как и в десятках других, разбросанных по афганской земле, они как-то поразительным образом уживаются вместе.

Пройдет месяц: «граждане» Джаббаров и Скляр «дембильнутся». И вот тогда на очень долгие годы самой интимной музыкой для них станет та, которую здесь они слушают редко. Я имею в виду песни «Каскада» и «Голубых беретов» про Афганистан, про Родину, про боевое братство, про любовь. Про войну.

На войне про войну плохо слушается.

— Рок и война? Не вижу в этом ничего несовместимого, — усмехается молоденький лейтенант Коля Зубков. — Просто надо отключиться от стрельбы и взрывов, а рок может заглушить все. Но есть вещи, которые я никогда ни понять, ни принять не смогу. В прошлом году во время отпуска я оказался с женой в Ленинграде. Впервые. Идем, значит, глазами хлопаем по сторонам. Из-за угла появляется миниатюрный паренек — топ, топ, топ... В общем, по Невскому шлепает такой, знаешь, расхлябанной трусцой. Белая рубашечка с воротничком на пуговицах. Галстук тонкий черный, селедкой, по-моему, называется.

Коля стоит, раскачиваясь на своих голенастых ногах. Сам он под два метра ростом. Коротко стриженные черные волосы, уже тронутые легкой сединой. Почти аристократические черты чуть сдавленного в висках смуглого лица, тоненькие аккуратные усики. Классический офицер классической русской армии. Почесав затылок, он продолжает:

— Разминулись мы, а жена меня локтем в бок: «Коль, смотри — у него на галстучке свастика». Сама поблед-

¹ БК — боекомплект.

² «Сварка» — крупнокалиберный пулемет.

³ «Прислуга» — расчет пулемета.

⁴ «Сигара» — НУРС.

нела, не знает, что дальше делать. Я не поверил: в Питере свастика?! Делаю разворот на сто восемьдесят и обратно, за паренком. Жена на руке повисла — не пускает. «Подожди-ка», — говорю ей, а галстучек на свой мизинец наматываю. Гляжу — и впрямь свастика. «Что же ты, сукин кот, делаешь?» — спрашиваю его. Меня поразило, что прохожие, пожилые в том числе, начали заступаться за парня. Я тогда к ним поворачиваюсь: «Вы — чего? Или уже память отшибло — забыли, как они вас девятьсот дней голодом морили? А?» Но тут целая свора пацанов окружила нас с женой и как начнут: «Афганцы наших бьют! Афганцы наших бьют! Десантура высадилась!» Я в военной форме ВДВ с орденами — Знаменем и Звездой — неловко на улице инцидент создавать. Пошли с женой дальше, но расстроился я жутко.

Мы делаем несколько шагов молча. Потом он говорит:

— Я долго обо всем этом думал. Проблема питерского паренка в том, что у него нет проблем. Вот и выдумывает он себе игрушки. Но игрушки — как мины-сюрпризы, что «духи» тут ставят: не знаешь, когда и где рванет. Эти ребятишки смотрят на нормальную жизнь, как на каторгу. Но ведь каторга лишь там, где удары кирки лишены смысла. Пусть бы таких сегодня ночью в засаду, мигом бы всю окалину содрало.

Мы опять возвращаемся в каптерку. «Шарп» теперь надрывался осипшим голосом Рода Стюарда.

— Одни люди всю свою жизнь, — Зубков садится на койку, чуть отесняя Скляра, — проводят в поисках ее смысла. Другие с юности махнули на это гиблое дело рукой и решили воспринимать ее такой, как она есть. Но здесь я пришел к одному очень любопытному заключению: в жизнь смысл надо привносить. Вот и все.

— Тут от твоих прежних установок и идей, — Скляр насухо вытирает умытое порозовевшее лицо, — после первых же боевых остаются одни ошметки. Соединить их опять во что-то целое уже нереально, как невозможно собрать оторванные снарядам голову, ногу и туловище. Когда я прощался в Союзе на вокзале с Элькой, сразу понял, что прощаюсь не только с ней, но и с собой. Тем собой, каким я уже больше никогда не смогу быть. — Он аккуратно кладет в тумбочку мыло и зубную щетку. — Странные проводы получились: мы все проводжали МЕНЯ. Трансформация из «молодого» в «черпака»*, а потом в «гражданина» очень точно, между прочим, передает основные этапы изменения солдатской психики. Это как несколько раз панцирь или кожу поменяешь. Но мне-то лично кажется, что у меня стал другим даже химический состав клеток. Вот наверняка: приеду домой, сделаю анализ крови, а он будет не таким, каким был два года назад.

Сегодняшняя засада — последняя в жизни Скляра и Джаббарова. У каждого из них десятки боевых выходов за плечами: налеты на караваны с оружием, десантирование с вертолетов и брони, засады... «Граждан» командир не пускает на операции: если ты отслужил здесь два года, в последние 20—30 дней до демобилизации тебя щадят, берегут. Ведь риск, как радиация. В какой-то момент его доза становится критической. Только в каких единицах измеряется уровень риска? Да и прибора для этого пока еще не изобрели.

И вот предстоит засада, отделяющая их от всей остальной жизни. Это как последние десять сантиметров, которые тебе надо пройти по карнизу небоскреба: знаешь, что по сравнению с тем, что осталось позади, предстоит одолеть сущий мизер. Но мизер, от которого зависит все.

* «Черпак» — солдат, отслуживший в Афганистане полгода.

Впрочем, похоже, что это лишь я за них волнуюсь. Сами же они спокойны, как вон те горы, что видны из окна каптерки. Молчаливо продолжают упаковывать свои рюкзаки. А они у ребят роскошные, легкие, вместительные. С обилием карманчиков на всяких там молниях.

Для Славы Сорокина это тоже последний боевой выход. Ему осталось пятнадцать дней до демобилизации. Еще меньше, чем Джаббарову и Скляру, — не десять сантиметров, а пять. И вот он сидит, обняв за талию гитару, что-то мурлычет себе под нос.

— Вначале, — прерывает Сорокин свою песенку, — было тяжело оттого, что ничего не знал и не понимал. А теперь тяжело потому, что все знаешь. Все понимаешь... Вот смотрю я на все эти горы вокруг. И пустыни. Много там сил оставлено: чувствуешь себя не столько повзрослевшим, сколько постаревшим. В самом конце прошлой засады все выдохлось, измокли и измерзли — я стрелял только для того, чтобы все это поскорее кончилось. Но уезжать горько: и Афганистан, и жизнь здесь, и это не по-нашему низкое небо, — все стало родным. Все течет уже тут... — И Сорокин проводит пальцем по вене левой руки.

Он опять медленно и нежно перебирает прохладные тонкие струны, как, должно быть, когда-то дотрагивался до волос той, чью карточку он мне только что показал. Здесь гитара — единственное, что солдат может обнять за два долгих-долгих года.

«...Так что ты, кукушка, погоди, — тихо, почти шепотом поет Слава, — мне дарить чужую долю чью-то...»

Вечер скрашивает все цвета далеких гор в один — тускло-серый. Мелко дрожит земля, отдаваясь зудом в стопах: по дороге тянется, возвращаясь с боевых, длинная колонна БТРов соседней части. Пыль, которую она поднимает, потом медленно оседает на лицах солдат и листьях деревьев. Под рокот двигателей, словно рев обезумевшей толпы, в ушах все еще хрипит Род Стюард. Мы долго смотрим из-под панам на машины, окутанные серо-рыжими клубами выхлопной гари, песка и пыли. Как они медленно проезжают, держа между собой четкий интервал метров в пятнадцать. Они едут след в след, и видно, как торчат из передних люков ушастые головы водителей. Лица их, отражая свет приборных щитков, фосфоресцируют в темноте. Лица тех, что на броне, не разглядеть. Просто сгорбленные черные силуэты, да устремленные в небо тонкие прутья антенн. Антенны раскачиваются в разные стороны и хлещут по кронам деревьев, обдирая их. Колонна проходит, ляг и рокот смолкают за горой, а на дороге остаются лежать безжизненные вытнутые листья эвкалиптов.

— Малыш на месте? Давай, Малыш, трогай! — кричит в один из ларингов шлемофона Коля Жерелин, двадцатипятилетний старший лейтенант с лицом, коричневым от пыли и загара.

Малыш, чей стриженный затылок виден в люке, нажимает на педаль, и наша БМП выезжает на дорогу. Все пятьдесят десантников, оседлав машины, движутся в юго-восточном направлении по дороге на Пешавар. До границы с Пакистаном остается всего тридцать километров. Но уже через пятнадцать мы спешимся и под ночным покровом уйдем резко на юг от дороги, вдоль линии Дюранда, с тем чтобы, преодолев двадцать километров, лечь в засаду близ кишлаков Сингир и Биру. По имеющимся сведениям, сегодня ночью там пройдет банда, которая завтра должна укрепиться в районе Джамали и обстрелять на рассвете наших вертолетчиков.

Вместе с нами в отряде — афганец-разведчик, поджарый человек лет сорока, с жесткой серой бородой и блестящими выпученными глазами. Сам он родом из кишлака Биру: все тамошние тропы и караванные пути знает, как свои пять.

Переговариваясь по радио с капитаном Козловым, Жерелин похлопывает пушку БМП, как верного пса. Не видно ни зги, лишь два красных габаритных огня впереди ревушей БМП маячат метрах в пятнадцати от нас. Холодный сухой ветер с гор леденит лицо, обдаваемое в промежутках между его порывами прогоркло-горячими выхлопами машин. На небе слабо мерцает лишь пара-другая звезд. Но стоит глянуть в ночной бинокль, как увидишь, что все оно светится многомиллионной звездной сыпью.

Навстречу нам несется афганский

грузовик. Он враз онатывает колонну желтым светом фар. Жерелин чертыхается: «Мы и так гремим на пол-Афганистана, а тут нас еще и показать решили: глядите, «духи», советский десант едет на засаду».

• Минут через пять все БМП сворачивают с дороги на север и сотни три-четыре метров мы трясемся по камням. Потом на ходу спешиваемся и, растянувшись в длинную цепочку, поворачиваем в обратную сторону, идем на юг по высохшему руслу реки. Броня продолжает реветь за спиной, имитируя наше выдвижение в северном направлении.

Согнувшись в три погиба, каждый из нас быстрым рывком перебегает ту самую дорогу, по которой еще недавно с таким комфортом катил на броне.

Луна расчищает себе небо от облаков, и теперь каждый камешек степи блестит на ее свету, точно обтянутый фольгой, норовя впитаться в подошву «кимр». Километра через три, с каждым шагом камней становится все меньше, и вот уже мы бредем, по щиколотку утопая в еще теплом песке. Он покрывает землю от горизонта до горизонта: степь напоминает ее гигантский солнечный ожог.

Пот льется из-под каски, которую мне дали для страховки, застилает едкой целлофановой пленкой глаза. Наконец короткий привал. Все садятся, откидываясь на рюкзаки и вытягивая вперед ноги. Санструктор Сан Саныч усаживается по-турецки, снимает панаму, и его бритый череп серебрится от пота.

— А ночь сегодня, братцы, лунная-лунная, — говорит он, сильно запрокинув голову и приоткрыв рот, словно для полоскания, — и мы с вами как на ладони.

Именно поэтому головной дозор продолжает путь, пока отряд отдыхает.

Степь все еще отдает накопленное за день тепло, и ты себя чувствуешь, если не как в бане, то как в предбаннике — точно. К флягам никто не прикасается, хотя пить хочется до সিпа в глотке. Хотя бы смочить пересохший рот с хрустящим на зубах песком. Но даже этого пока нельзя: никто не знает, как пойдут дела и сколько придется торчать в засаде. С каждой минутой цена воды растет. А через полчаса ты будешь смотреть на флягу, как на самую дорогую свою вещь. Все потеряет смысл, кроме влаги. Попадись сейчас лужа, выпил бы. Впрочем, это действительно можно сделать: у каждого десантника в рюкзаке есть трубка с пористым углем и обилием разных фильтров.

Подъем. Отрываешься от земли, точно тебя к ней приклеили.

Мы опять идем. Как иноки. Способности человека к мимикрии не снились и хамелеону. Здесь ты превращаешься в песчинку, в горах будешь камнем.

Луна мерит шагами небосвод. Она идет вместе с нами, освещая петлистый путь меж сопки и кишлаков. Луна — над тобой, а сразу позади вместо тени тащится усталость, иногда нагоняя, иногда отставая. Она, жажда и песок становятся единым целым, называемым коротким, но изматывающим словом — степь. С первого взгляда она безжизненна и молчалива, но на самом деле полна присутствием человека. Правда, скрытым, едва уловимым. Об этом напомним вдруг подувший ветер с кисло-прелыми запахами притаившегося неподалеку кишлака. Или приглушенный лай собаки. Либо вой и пара светящихся глаз шакала, шарящего в поисках пищи близ какого-нибудь селеньца.

В постоянно сотрясаемой от ходьбы голове, точно в копилке, дробятся на мелкие осколки мысли, перемешиваясь с обрывками воспоминаний. Воспаленный от жажды и жары мозг, перескакивая с одного на другое, не

может сосредоточиться на чем-то конкретном. Во рту ржавый металлический привкус, как после быстрого бега на длинную дистанцию.

Впереди, в горах, замечаешь, как движутся навстречу друг другу красные и желтые огоньки. Сначала думаешь — пока еще на это способен, — что где-то там пролегло шоссе и по нему мчатся машины. Потом понимаешь: абсурд, не может быть. На самом деле все проще. Две духовские банды ведут ожесточенный ночной бой, но такой далекий, что выстрелов не слышно. Замечаешь сполохи света. Зарницы? Нет, гранатометы. Тысячи трассеров оставляют за собой вытянутые нитеобразные следы: похоже на косые длинные струи кровавого дождя.

Впереди меня топает Джаббаров. Он ломает галету и пускает несколько кусков назад по цепочке. Вот один доходит до меня и сразу попадает в рот, застревая в пересохшем горле.

Десант хрустит галетами на всю пустыню: ночь сухая, звонкая — любой звук разлетается на километры окрест. В целях маскировки начинаю не грызть, а давить галетину зубами.

Джаббаров тащит свой рюкзак легко и непринужденно, ну прямо как в турпоходе. Ежедневные многокилометровые переходы натренировали его волю и ноги. Кроме того, он кандидат в мастера спорта по велоспорту. До армии гонял на своем дюралюминиевом «Старт-шоссе» в Свердловске. С тренером до сих пор перебрывается коротенькими открытками. «Давай, Владик, — написал ты в последней, — дави на педали: осталось чуть-чуть. Зато после Афгана любая трудность покажется комариным укусом».

Постепенно налаживается второе дыхание, и мысли выстраиваются в более или менее стройную цепь. Не такую, конечно, какой топая по степи мы, но все-таки...

Из-за спины доносится ритмичное дыхание Скляра: вдох — выдох, вдох — выдох. «Я дома слыл жутким хулиганом, — признался он мне еще в каптерке, — с педсоветов и из учительской не вылезал». Я слушал его и верил. Я уже знал: бывшие хулиганы обычно уезжают из Афганистана с орденом Красной Звезды на груди. Их бесшабашность каким-то невероятным образом переплавляется здесь в героизм.

...Опять безмолвный кишлак. Все встречающиеся на нашем пути селения мы обходим так, чтобы ветер дул с их стороны в нашу, а не наоборот. Иначе собаки, почуяв «иноверцев», поднимут лай. Идем мы, ориентируясь исключительно по компасу. У нас, правда, есть и карты «пятидесятки», но они нужны здесь не более, чем пассажиры в бане: степь лишена ориентиров, как и воды. Зато — обилие верблюжьей колючки. Остается пожалеть, что ты не верблюду.

Мысли опять начинают плясать. Преимущественно вокруг чего-нибудь жидкообразного. Терпеть жажду дальше равносильно самоубийству. Достаю из-за пазухи флягу и делаю глоток. Кажется, вода сейчас зашипит на раскаленных зубах. Она действительно куда-то испаряется, так и не успев попасть в брюхо. Или ее впитали в себя пыль и песок, забившие мне рот и ноздри? Лишь второй глоток достигаю места назначения. Я пью из фляги, сильно запрокинув назад голову, и вижу на небе, прямо над головой, Волосы Вероники, а чуть дальше семь других звезд. Вон Мицар, а рядом едва тлеет Алькор. Это — Большой ковш. Ковш, которым можно черпать воду. Много воды. Если хочется пить, что тебе ни покажи, твой мозг все равно свяжет с водой. Теперь я сам на себе познал, что, помимо всех видов и подвидов свобод, которые придумал себе человек, есть еще и такая — свобода пить воду.

(Окончание следует.)



ВСТРЕТИМСЯ У ТРЕХ ЖУРАВЛЕЙ

Артем БОРОВИК.

Фото автора

Банды в горах с хрустящими названиями по-прежнему ведут бой. Но мы прошли километров семнадцать, а если учесть, что приходилось все время петлять, тогда и все двадцать — двадцать три. Поэтому стрельба и взрывы хотя приглушенно, но уже слышны. Луна теперь такая яркая, что видно, как по пустыне ползают тени от облаков. Беспорядочно кружатся мотыльки, тцась долететь до нее.

Короткий отдых. Все пятьдесят мгновенно садятся. На языке санструктора Сан Саныча это называется «принять лунную ванну». Пять-шесть человек отходят в сторону по нужде и стоят, как изваяния. Через три минуты мы опять на ногах, опять идем. Точно так же солдат ходил и три тысячи лет тому назад. С той лишь разницей, что вместо автомата у него в руках был меч или копье. Похоже, минут еще столько же времени, но основным транспортом солдата по-прежнему останутся его две ноги: когда-то в сандалиях, потом в сапогах, а теперь вот в кроссовках. Что придет на смену им?

Появились сопки. Вон их подковообразная цепь. Мы взбираемся на нее, занимая все господствующие вершины. Тут принцип такой: кто залез выше, тот и победил. Сразу же начинаем строить бойницы. Камней почти нет, поэтому приходится бегать вниз, к «зеленке»: там, в русле иссохшей речки, их целое скопище. На каждую бойницу, или, по-военному, стационарный пункт для стрельбы (СПС), уходит по 25—30 массивных булыжников-валунов. Соседняя сопка на «пятдесятке» обозначена цифрой 642. Там располагается левый фланг прикрытия. На сопке 685 — ее правый фланг. Мы — посередине. Капитан Козлов со своей группой прочесывает «зеленку» вниз. Движение банды предполагается именно по пересохшему руслу реки Хвар, отделяющей сопки от растительности. В ночной бинокль можно разглядеть несколько «духовских» бойниц для стрельбы, но к ним лучше не подходить: обычно они заминированы.

Дно нашего эспеза мы с Джаббаровым устилаем плащ-палатками: к часу ночи земля уже остыла, да и вообще становится все холоднее — почки или мочевой пузырь желательно не застудить. Мы ложимся и укрываем в бойнице автоматы. Рюкзак теперь можно сбросить со спины.

Он на четверть промок от пота и стал еще тяжелее. В соседнем эспезе обосновался Жерелин с радистом. Он держит связь с Козловым:

— «Диспут», «Диспут», я — «Комета», как слышишь, прием... — Жерелин говорит тихим, но четким голосом.

Подул с гор ветер, и теперь уже по-настоящему холодно. Промокшая куртка затвердевает, и поверх приходится натягивать «пакистанку». Впрочем, она мало помогает. Каска, которую на меня для страховки надели еще в батальоне, теперь трясется, точно шлем шахтера, работающего отбойным пневматическим молотком. Я снимаю ее, чтобы эта кастрюля своим дробным лягом не выдала засаду. Спасает бронетюфяк: за время перехода по степи его титановые пластины прогреблись, и теперь чувствуешь себя в нем, как в остывающем термосе.

От резкого перепада температур горло начинает слегка першить. Теперь, помимо свободы пить, у меня отнимают еще одну — свободу кашлянуть. Это запрещено пуще первого. Какая-то сплошная диктатура.

Говорить тоже нельзя: общаемся жестами и шепотом. О куреве немислимо и помечтать: даже если ты ладонями прикроешь огонек, «дух» все равно увидит его слабое сияние сквозь твои руки через прибор ночного видения. Впрочем, душманы обходятся иногда и без биноклей. У нас-то их семь штук на группу. Один болтается на моей шее. Он дарит способность если не к яснослышанию, то уж к ясновидению точно. И хотя батарейки еще не успели сесть, способность эту надо использовать экономно. И все же я гляжу в него ежеминутно: таков приказ Жерелина. Надо наблюдать за руслом внизу. Бинокль окрашивает все окрест в светло-зеленый цвет: зеленая луна, зеленое лицо Скляра, зеленый кишлак вдаль. Линзы дают мощное увеличение, и видны две человеческие фигурки на одной из его улочек. Я говорю об этом Джаббарову.

— Там склад с боеприпасами той банды, что сейчас к нам направляется. «Духи» заночуют в кишлаке, днем превратятся в местных крестьян, а завтрашней ночью потопают на диверсию. Днем эти кишлаки наши, а ночью — «их». В этом вся штука. Там уже знают... — Владик махнул в ту сторону, где виднелись зеленые фигурки, не подозревавшие, что на расстоянии в четыре километра сквозь толщу непроглядной тьмы за ними пристально наблюдают две пары глаз — джаббаровских и моих.

— Что знают? — шепотом спросил я.

— Знают, что банда идет, и ждут ее, — прохрипел Владик.

...Потом вдруг стихли все звуки — исчезли вообще. Словно кто-то повернул до нулевой отметки регулятор громкости. Так бывает, когда скрипач уже оторвал смычок от струн, а в зале еще одно мгновение парит, иссякая, звук. Какая-то звенящая нота, меркнущая уже не вовне, а внутри

тебя, — слабый отзвук отгромыхавшего и отлягавшего гусеницами дня.

Казалось, война на время забыла про наш отряд.

Но я лежал и кожей понимал, что тишина столь же обманчива, сколь и мои предчувствия. Я знал, что на нас движется еще пока не слышимая банда, час назад вышедшая из кровопролитного боя в горах. Что другие повстанческие отряды, малые и большие, притаились в таких же засадах, как эта. А иные минируют подступы к укрепленным или горные тропы. И весь отряд ощущал себя, словно в чертовой карусели, когда думаешь, что гонишься за тем, кто впереди, а он полагает, что гонится за тобой. Но такая тишина не успокаивала и не дарила отдыха, а изнуряла сильнее иного боя.

Я напрочь выключил слух и почувствовал, что куда-то проваливаюсь. В голове еще звучали невнятные отголоски дня, но внезапно они стали сном, коротким, но битком набитым людьми и бронетранспортерами. Разговоров во сне почти нет. Одни действия. Впрочем, как и на всамделишной войне. Снится, что летишь на «спарке» и вот надо катапультироваться, но в ту секунду, когда откидывается назад фонарь, вдруг с ужасом вспоминаешь, что нет парашюта. (В это мгновение на лбу спящего проступит холодный пот.) ...Или что твой БТР заглох и по нему из «зеленки» прямой наводкой лупит из РПГ «дух». Проснувшись, ты будешь подосознательно стремиться ездить на БТР-70: у него два движка, и если первый заглохнет, второй вытянет. Так что сны определяют не только сознание, но и бытие.

Сквозь мимолетную дрему я слышу знакомый мотив. Открываю глаза: это электронные часы Скляра пищат из соседней бойницы. Он приобрел их в дукане: вместо тривиального пиликанья они ежечасно играют коротенькую мелодию из кинофильма «Мужчина и женщина». Приятно и невероятно странно слышать ее здесь, в ночной засаде. Закрываю глаза, сквозь дрему вспоминаю, как смотрел эту картину в маленьком лозерском кинотеатре у саами на Кольском полуострове. Вокруг лежала немая тундра, бродили по ней стада оленей, а от одиноких остроносовых чумов тянулись в небо тонкие струи голубого дыма. Говорят, французы сделали сейчас, двадцать лет спустя, вторую серию фильма с теми же актерами. Что это — попытка вернуться в свою молодость? Или ностальгия мира по «шестидесятым»? И вообще где я? В кольской тундре? Мчусь вместе с Трентиньяном по трассе Париж — Дакар? Или мерзну в степи Таррана в пятнадцати километрах от афгано-пакистанской границы?

...Скляру все же удается заставить часы молчать. Точно такие же я видел на руке Питера Арнетта. Интересное совпадение. Второе совпадение заключается в том, что Питер незадолго до меня прошел вот по этому самому руслу реки, которое я после короткого пятиминутного сна опять внимательно разглядываю через бинокль. Но, естественно, не с отрядом афганских или советских десантников, а с бандой душманов. Они пересекли степь, простирающуюся за моей спи-

ной, и вышли к Джелалабаду. Потом опять вернулись в Пакистан. Я вспоминаю, как встретился с Питером в его московском корпункте, и попросил подробно рассказать о нелегальном странствии по Афганистану. История, поведенная им, хорошо отпечаталась в моей памяти.

Арнетту уже за пятьдесят. И я, проследовав за ним в его кабинет, заваленный газетами, еще поинтересовался, как это он одолел столь длительный пеший переход по афганским горам и степям. Я положил бинокль на плащ-палатку и, ослабив шнуровку «кимр» на стертых ногах, подумал, что мне, хотя я и младше Арнетта в два с гаком раза, ночной марш по степи дался отнюдь не так легко, как предполагал ранее. Видимо, вспомнил я, ему здорово помогла закалка, приобретенная за годы журналистской работы во Вьетнаме, Ливане и Сальвадоре.

— Из стран Центральной Америки вы были только в Сальвадоре? — спросил я, когда мы сели за журнальный столик.
— И в Никарагуа тоже. — Он сделал глоток газировки.
— Когда? — спросил я.
— Зимой 85-го.
— Странно, что мы разминулись: я был там в то же время.

Я опять поглядел на речное русло и представил, как шумит в нем вода, когда идут обильные дожди или тает снег в горах. Сейчас река была мертва и молча извивалась между сопками. «Никарагуа, — подумал я, — это третье совпадение».

— Вы там были с «контрас» или с сандинистами?
— И с теми, и с другими, — ответил он.
Я рассказал Арнетту про знаменитый случай с Джоном Лантингуа, корреспондентом «Вашингтон пост», ставший коронной байкой репортеров зарубежного пресс-корпуса в Манагуа. Джон Лантингуа поехал вместе с группой аккредитованных журналистов на БТРе по направлению к границе с Гондурасом. Там их обстреляли «контрас». Перепугавшийся Лантингуа начал орать что было мочи сквозь щель для стрельбы на всю сьерру: «Ради бога, прекратите огонь: здесь свои!» Чем себя и выдал. Точнее, свои идеологические позиции.

— Позиции американского журнализма, — заметил Арнетт, — позволяют нам заглядывать по разные стороны баррикады. Эти позиции обеспечивают нам свободу мысли.
— Послушайте, Питер, времени у нас с вами мало, а путь из Пакистана в Афганистан и обратно вы проделали немалый, так что давайте перенесем от «контрас» к душманам. Как они вас встретили? Не опорочил ли перевозчанную невинность мусульманского Востока тлетворный дух Запада в вашем лице? Бысь об заклад, но威士忌 вы научили их пить, а?
Арнетт рассмеялся и начал свой рассказ:
— Нас было двое: Эд Хили, фотограф из Далласа, и я, представлявший журнал «Пэрейд». Мы шли с группой повстанцев по освещенной лунной тропинке. Полы их длинных хлопчатобумажных халатов раздувал ветер. На мне тоже был халат и соответственной чалма, дабы мой облик чужестранца с Запада, как ты сказал, не бросался в глаза. Однако в непривычной одежде тем более было трудно идти. Мы тайком перешли границу с Афганистаном в месте, которое я тебе не назову, и продолжали двигаться по каменным горным тропам, ведшим в облака. Порой приходилось карабкаться по отвесным скалам...

Я глянул на него: интересно, как это тебе удалось?
В английском языке нет разницы между «ты» и «вы», однако каждый из нас чувствовал, что мы перешли на «ты». Быть может, нас сблизил Афганистан?

— Мы спускались по иссохшим руслам рек, — продолжал Арнетт, — а однажды я чуть не вывихнул себе колено. Проводниками нам служили полдюжины повстанцев, называвших себя моджахедами. Они вели нас к отряду, базировавшемуся в горах рядом с Джелалабадом. И вели, признаюсь, быстро. Наши жалобы на непомерный темп никем не учитывались: в противном случае грозила опасность оказаться днем на открытой местности. Попадется же на глаза экипажу вашего боевого вертолета никто из нас, прямо скажу, не жаждал...

Арнетт вытер салфеткой выступивший на лисине пот.

Я перещелкнул автомат на автоматическую стрельбу.

Арнетт сделал очередной глоток воды и сказал:
— Вскоре мы вошли в маленький кишлак. Я спросил проводников, не рискуем ли мы навстречу здесь на советский военный патруль. Они только рассмеялись: по их словам, ночью деревня принадлежит моджахедам. Опять вспомнились годы работы во Вьетнаме во время войны, когда я находился при вооруженных силах

Соединенных Штатов. Там деревни всегда по ночам принадлежали Вьетконгу... Мы вышли в маленькую живописную долину, когда уже встало солнце и в небе закружили первые советские вертолеты. Честно говоря, мы с Эдом прибыли в Афганистан выяснить, выиграете ли вы свою первую после 1945 года настоящую войну...

— Как же ты не побоялся пересечь нелегальную границу? — спросил я.
— Конечно, кто-то может сказать, что, нелегально перейдя границу, мы преступили закон. Но подобное нарушение закона едва ли что значит в стране, где идет война. Западным журналистам вроде нас с Эдом, решившим писать о повстанцах, и впрямь предстояло пройти рискованный путь — вначале найти в районе пакистанской границы высшее командование душманов, а потом получить их согласие на долгий поход внутрь Афганистана.

— С кем, интересно, вы встречались в Пакистане? И где? Или это «топ сикрет»?

— Это, — улыбаясь он, — «топ сикрет». Я знал, что исход войны в Афганистане серьезно повлияет на судьбы нашей планеты, и поэтому я пришел туда. Я, видишь ли, хотел узнать правду. Тем более мир ничего не знает о происходящих там событиях. Это еще одна «неизвестная война». Ведь у повстанцев нет радио, чтобы они могли сообщать информацию о себе. У многих и оружие было древним — допотопные ружья Эйфельда с затвором, старые автоматы, были и точные копии «Калашникова», сработанные деревенскими умельцами-оружейниками. А ваш полный набор боевой мощи в Афганистане налицо. Когда советский истребитель летит над горами, выискивая цель, повстанцы лишь могут спрятаться за валуны или же слиться с землей при помощи своих грубых халатов... Путешествуя по Афганистану, я всегда помнил о вьетнамской войне. И я искал общее между этой и той войной, такой гибельной для Америки. Я освещал Вьетнам в течение десяти лет, и аналогии с Афганистаном были очевидны. Однако мой статус здесь и во Вьетнаме был совершенно различен. Ведь сейчас я был с повстанцами, с теми, кого преследовали. Партизаны, правда, отрицали всякую аналогию с Вьетнамом. «Мы черпаем нашу силу из веры в Аллаха», — говорили они мне. В Афганистане ранение партизана в голову, грудь или живот означает почти верную смерть. Попадание в конечность означает гангрену и в конечном счете ампутацию. Арнетт допил кофе, поставил чашку на блюдце доннымшкой вверх и стал ждать, когда стечет жижка.
— Хочешь погадать, — спросил я, — на какую еще войну забросит тебя судьба в лице главного редактора?

— Нет, мне значительно интереснее узнать, опубликует ли «Огонек» нашу сегодняшнюю беседу. Если рискнете, это станет моим вкладом в вашу кампанию гласности.
— Чего вы все так печетесь о нашей гласности? Пекитесь о своей. К стати, чем закончилась ваша афганская эпопея?
— В один прекрасный день мы покинули наших хозяев, — ответил Арнетт, — так и не увидев ни одной вашей автоколонны. Война все время дразнила нас своей близостью и недостижимостью. Пересекли потом Кунар на резиновых плотах. Эд Хили свалился в бурлящий поток и измочил все фотокамеры, правда, сумел при этом героически спасти фотопленки. Вот и все.

...Все-таки, думал я, глядя в бинокль, я правильно сделал, что не стал с ним тогда спорить. Он увидел свой Афганистан, я — свой. Спор вообще одно из самых бессмысленных занятий в жизни человека. Спор рождает не столько истину, сколько ненависть. Тем более если в словесной дуэли участвуют люди, стремящиеся не понять друг друга, а еще сильнее укрепить свои изначальные позиции. Арнетт в свои пятьдесят занятые им позиции сдавать не собирается. И, уж конечно, вряд ли хочет перебраться в мои. Прощаться в зрелости со своими убеждениями, которые окостенели в тебе, как отложения солей, весьма трудно. Это все равно что съезжать на старости лет из дома, в котором ты родился, вырос и жил вплоть до последнего дня.

Конечно, почти каждая арнеттовская фраза вызвала внутри ответную реакцию и неудержимое желание вступить в спор. Аналогия с Вьетнамом не работала хотя бы уж потому, что Вьетнам, расположившийся за тысячами километров от Америки, никогда не обстреливал городов Флориды, Калифорнии или Новой Англии. Несколько дней назад я побывал в Пяндже и до сих пор помню ту страшную черную дыру, что образовалась в маленьком таджикском домике с черепичной крышей после гибели Зайнидина Норова. Америку во Вьетнам никто не звал. Афганское же руководство просило нас о помощи тринат-

дцать раз, прежде чем мы решились ее предоставить... Но вот я и втянулся в спор, а делать этого нет никакого желания. Тем более задним числом.

Джаббаров развернул спальник. Он натянул его на ноги, а поверх — еще и рюкзаки: так теплее. По крайней мере кажется, что теплее. Я последовал его примеру. Спящий в соседнем эспезе громыхнул какой-то железякой. Скорее всего консервной банкой.

Повстанцы жаловались Арнетту, что Америка о них забыла. Неужели Питер верит в то, что говорит? Америка забыла Вьетнам, но уж что-то, а про Афганистан она помнит, поставляя новейшее оружие душманам. В Южном Баглане я видел трофеи «духов», медицинское оборудование и лексарства в подземном госпитале крепости, своими руками трогал японские портативные рации, по которым бандиты переговаривались за час до падения последней городской улицы. Еще тогда я подумал: не всякая регулярная армия оснащена сегодня так, как повстанческие отряды душманов. На аэродроме мне показали советский вертолет, подбитый днем раньше «Стингером», а этот ПЗРК — последний крик военной «моды», динтуемой миру из США. Арнетт говорил об определенности повстанцев в правоте своего дела, о несокрушимой вере в Аллаха. Но на допросах пленных «духов» я неизменно наблюдал обратное: они моментально отреагировали, предавая анафеме то, о чем так страстно говорили вдруг пожелавшему стать наивным Арнетту. Америка покупает эту «веру». Не было бы долларов, не было бы и войны. Америка готова давать бандитам миллионы, лишь бы продолжался конфликт, лишь бы мы оставались в Афганистане. Америка купила себе эту войну, как она привыкла покупать вообще все. Арнетт был для «духов» представителем этой самой Америки, на деньги которой они воюют, живут и прожигают жизнь в Пешаваре в промежуточных между боевыми операциями. Они, естественно, из кожи лезли вон, чтобы предстать в глазах Питера и Эда Хили убежденными «воинами Аллаха». Что же касается самих американских журналистов, любящих «нелегалами» странствовать по афганской земле, то после командировки в ДРА у меня сложилось совершенно определенное мнение о них. Особенно после того, как я просмотрел в МГБ трофейную видеопленку, снятую одним из них. На нассете была детально, со смакованием самых жестоких и отвратительных подробностей заснята пытка советского военнопленного. Попадись мне тогда тот тележурналист...

— О чем задумался? — спрашивает Джаббаров.
— Уже три, а банды все нет.

По камням эспеза упорно, как трактор, карабкается скорпион.

— Не бойсь, — угадывает мои мысли Джаббаров, — пока они не очень ядовиты.

Но на всякий случай Владик нейтрализует гада прикладом.
Очень далеко, почти у самого горизонта, белют снежные пики гор.
— Когда-нибудь после войны, — мечтает Владик, — они устроят там горнолыжный курорт, и мы с тобой приедем покататься по местам бывших боев... Ничего, а?

— Да пусть они хоть десять фуникулерных ниток там натянут, — мрачно шепчет улегшийся между нами Спящий, — я сюда больше ни ногой! Давайте-ка лучше встречаться в Союзе. Скажем, у скульптуры трех журавлей в Ташкенте. Идет?
— «Духи!» — вдруг хрипло шепчет Жерелин. Капелька пота скатывается по ложбинке позвоночника, точно ручеек по дну ущелья.

Я глажу в бинокль: вдаль по руслу в быстром темпе идет человек двадцать. Все вооружены. Чем конкретнее, пока не разобрать.

Теперь мы тише тишины. Лишь Жерелин что-то чеканит по рации Козлову.

Даем банде приблизиться к нам на минимальное расстояние. Нервы на пределе. Козлов перекрывает русло позади них и тем самым запирает кольцо. Если «духи» ринутся в «зеленку», напорются на наших. Если попытаются проскочить между сопки, мы окажем полагающийся им прием.

Внизу начинается отчаянная стрельба. Мелькают десятки одиночных и длинных прерывистых вспышек. Человек десять из банды бросаются врассыпную к правому берегу реки. Несколько фигурок падает. Пять или шесть душманов залегли, спрятавшись за валуны. Через мгновение они открывают огонь по сопкам, прикрывая тех, что прорываются промеж нашей и соседней высот. Слева и справа грохочут автоматы Спящего и Джаббарова. Они бьют по трем «духам», пытающимся зайти в тыл нашему левому флангу.

Ночь рвется и трещит. Трассеры исполосовали мглу. Несколько зажигательных пуль ложатся слева от жерелинского эспеза, и колючка мгновенно вспыхивает. Там только радист. Сам Жерелин мечется между бойницами.

Внизу, со стороны русла, стрельба прекращается. Козлов, похоже, загасил все огневые точки. Такое впечатление, что над «зеленкой» кто-то натянул красные и желтые провода. Там еще отстреливаются три «духа». Но вскоре провода гаснут. Больше их нет.

Бой длился минут десять.

Автоматы раскалены, и капельки пота, падая на железо, шипят. Все вроде как и прежде. Только на небе еще сильнее поблелела луна.

В этот момент слева опять вспыхивает стрельба: два «духа» залегли на тыльной стороне сопки. С вершины по ним ведет ответный огонь левый фланг жерелинской группы. Кто-то на секунду высовывается из-за бойницы, и рука что-то с силой бросает вниз. Яркая вспышка и одновременно взрыв. Осколки со звоном ударяются о камни. Стрельба прекратилась. Через мгновение еще одна граната взрывается в том же месте. Это — на всякий случай.

С минуту мы молча лежим в своих каменных подковообразных бойницах.

Видимо, все. И уже окончательно. В голове почему-то пульсирует странная мысль. Что ты только что делал, стреляя из автомата по «духам», — оборонялся или все-таки атаковал? Хотел ли ты уничтожить его или защитить свою жизнь? Спросив об этом «духа», ты вряд ли получил бы ясный ответ. Даже если бы «дух» был жив.

Джаббаров еще раз дает длинную очередь в темноту, как бы спрашивая: «Эй! Есть там кто или нет?» Ему отвечает сильное, раскатистое эхо. Но с таким опозданием, что его можно принять за ответный огонь.

В центре русла близ гладного, блестящего на солнце бокастого валуна лежал, подтянув колени к подбородку, один из тех двадцати, что завтра на рассвете собирались обстрелять эрсами наш аэродром. Почему-то вспомнился Владыкин. Как он легкой трусцой бежал к своему вертолету вдоль раскаленной солнцем взлетно-посадочной полосы.

Кого убил бы завтра этот человек, сейчас беспомощно лежавший у моих «кир», если бы сегодня не убили его мы? Глаза афганца были открыты и смотрели удивленно в небо. Точно он хотел о чем-то спросить, но не мог. Узкий смуглый лоб еще покрывали мелкие капельки пота. Каждая из них блестела в свете луны. Теперь она стала похожа на лампу дневного света в морге.

Грудь другого была мелко вытатуирована сорок восьмой сурой из Корана. Он полагаю, что это делает его неуязвимым. Сквозь разорванную рубаху видны начальные строки суры. Позже я узнал их перевод:

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов и что было позже, и чтобы завершил Свою милость тебе и повел тебя прямым путем,

и чтобы помог тебе Аллах великой помощью. Он — тот, который низвел сакину в сердца верующих, чтобы они увеличили веру с их верой; Аллаху принадлежат воинства небес и земли; Аллах знает, мудр!»

«Аллах не помог», — подумал я. За пазухой у него лежала здоровенная фляга. Удобная вещь: в крышку вмонтирован клапан, и чай можно разогревать на костре прямо в ней. Кроме того, фляга вмещает пять солдатских кружек воды. Теперь она тебе вряд ли понадобится.

Говорят, если моджахед умер лицом к земле, значит, в жизни он много грешил. Третий душман лежал, уткнувшись лицом в гальку. Падая, он неловко подломил под себя правую руку, и казалось, что ему очень неудобно вот так лежать. Левою он держал автомат, и, чтобы вытщить его, пришлось разжать пальцы. Пуля вошла ему в кардык навзлет, и кровь медленно тонким ручейком текла вниз по сухому руслу. В правом кармане его «пакистанки» лежал целлофановый пакет с изюмом и грецкими орехами.

Взвалив на плечи все трофейное оружие, мы поднялись опять на сопку. Солдаты расселись по своим эспесам и молча вытаскивали из рюкзаков сухайки. Мы с Джаббаровым перешли в бойницу у Силяру. Он уже вскрыл две банки с колбасным фаршем. От сучиной щетины щени и подбородки наши стали сизо-серыми, как чешуя на рыбьем брюхе.

Только сейчас я понял, как проголодался. Джаббаров ловко намазывал сгущенку на галеты и отправлял их поочередно в рот. Я сделал несколько глотков из трофейной фляги, по горлышко заполненной крепким зеленым чаем. Он оназвался чуть солоноватым на вкус.

Минут через пятнадцать мы уже шли по степи в обратном направлении, вытянувшись в длинную цепь, двигаясь навстречу броне. Около часа я шагал на автопилоте, не думая ни о чем, и иногда казалось, что сплю. Потом, когда в бесконечной утробе ночи почувствовалось рождение нового дня, мысль опять внезапно заработала. Если бы «духов» в банде оказалось больше, бой мог бы затянуться. Нам, конечно, повезло еще и потому, что перед этим их отряд ввязался в длительную перестрелку с другой бандой. Сколько людей они оставили в горах? Потом я вспомнил про Арнетта. Что произошло бы, если бы он путешествовал по Афганистану не тогда, а сегодня ночью? Встреться мы здесь, в степи, а не в его московском корпункте, наш разговор пошел бы совсем в ином ключе. «По разные стороны баррикады» — так, кажется, он сказал. Да, Питер, в данном случае ты прав. Тогда в Москве мне показалось, что Афганистан нас в чем-то объединяет. Но сегодня ночью он пролежит между нами пропастью...

Если дневной Кабул одинолик и прозрачен, то вечером он полон таинственного очарования. И опасность лишь усиливает это ощущение.

Я вглядывался в усталое, едва освещенное лицо города, трясаясь на заднем сиденье «уазика», который мчал меня из аэродрома к нашей торгпредовской гостинице. Рядом сидел мужчина в штатском, тоже с утомленным лицом, покрытым частой сеточкой красных сосудов и обрамленным жесткой седой бородкой. Высокий лоб его был рассечен на равные части несколькими глубокими горизонтальными морщинами. Я познакомился с ним неделю назад в самолете, выполнявшем рейс Кабул — Кундуз. Это был редкого ума человек, заведовавший кафедрой одного из московских вузов. Опершись локтями о колени, он смотрел вперед на дорогу.

Слева и справа уносились назад электрические пятна дуканов. Они ломились от обилия товаров, сделанных практически во всех странах мира. Здесь принималась любая валюта, кроме разве что монгольских тугриков. Купить там можно было все. Порой даже казалось, что попроси ты лавочника потехи ради широкофокусный «бонинг-747», он хитро улыбнется и вытщит из-под полы эту двухэтажную громадину. И еще подмигнет: «Командор, большой-большой скидка только тебя!»



Полковник Валерий Павлович Заломин.

Когда машина наша останавливалась, пропуская на перекрестках другой транспорт, можно было увидеть в магазинчиках, залитых желтым светом, новенькие «Шарпы» в целлофановых упаковках. Разглядывая их, я не переставал поражаться тому, как новейшая техника и родоплеменное сознание торговца сепаратно сосуществовали в маленькой лавке площадью всего в два-три квадратных метра, не проникая друг в друга. Оказывается, можно носить на запястье «Сэйко» с жидкими кристаллами, но самому быть носителем дофеодалной психологии. Вспомнилось, как Ниматулла, афганский летчик-истребитель, усмехнулся однажды: «Да, я летаю на сверхзвуковом, но жена моя носит чадру».

Днем дуканщики прятались от жары в мрачной глубине своих магазинчиков. И там, в чреве многочисленных лавок, горели десятки пар их зеленых и голубых глаз, точно звездочки в ночном небе.

— Помните, — вдруг спросил мой сосед, — суру под названием «Ночь»?

— Грешен, — признался я, — плохо знаю Коран. — «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Клянусь ночью, когда она покрывает...» Я это к тому, — он поскреп пальцем переносицу, — что есть вещи, которые можно постичь лишь ночью.

Странно было слышать это из его уст. Днем он всегда прятался за броню холодной веселости. Но теперь от нее не осталось и следа.

— Да, — ответил я, — ночью, как ни странно, видишь дальше и глубже.

— Негоже человеку понимать слишком многое. И заглядывать чрезмерно далеко тоже негоже. Ясновидение — это трагедия, а не дар. Даже самый мудрый из мудрейших теряет ощущение реального времени. Он видит только будущее, но не настоящее.

«Уазик» резко повернул направо, и моего соседа прижало к левой дверце. Поняв его мысль, я спросил:

— Но будь вы на месте этого «мудрого из мудрейших», который, положим, верно и глубоко понимает перспективу общественного развития, но видит при этом тысячи людей вокруг себя, живущих в нищете, отсталости, почти варварстве, разве у вас не возникло бы желание помочь им, приобщить их к более высокой культуре?

— Лично я, — ответил без промедления мой собеседник, — глубоко убежден, что варварство является противоположностью культуры лишь в системе определенных координат и воззрений, созданной все той же культурой. Но вне этой системы варварство и отсталость означают нечто совершенно иное, отнюдь не противоположность культуры.

Я начал распечатывать пачку сигарет, взяв таким образом маленький тайм-аут в споре.

— Но если жизнь, — сказал я, чиркая спичкой, — скверна и несправедлива, совершенно естественно хотеть и пытаться ее изменить. Разве нет?

— Видите ли, — он чуть приоткрыл форточку, — я вообще не склонен возмущаться объективным ходом вещей в мире. Это глупо. Вам же не придет в голову возмущаться тем, что Волга течет именно так, но не иначе? Впрочем, — махнул он рукой, — такое тоже бывало. Совсем недавно.

— Я никогда не был сторонником ни киевизма, ни релятивизма. Они ведут к бездеятельности и параличу воли, а это похуже паралича тела. Кстати, вы никогда не замечали, что утром ночные бдения почти всегда кажутся чем-то вроде алхимических поисков?

Он усмехнулся уголком рта: — Ладно, ну ее к черту, философию. Расскажите лучше, что из увиденного здесь подействовало на вас сильнее всего?

Действительно, что? И я вспомнил ранее-раннее утро, предрасветную дымку. Длинную, почти до самого горизонта, взлетно-посадочную полосу...

— Разведка-а-а-а! — кричит на весь аэродром круглый человек в летней форме вертолетчиков, кеи с длинным козырьком и блоком в руках. — Разведка-а-а-а! Дава-а-ай!

Мы медленно встаем, взваливаем на спины РД¹, берем автоматы и, разбившись на корабельные группы по восемь человек в каждой, бредем к шестерке «МИ-8». Они стоят, устало свесив лопасти. Спереди и сзади «пчелки» зажаты парами «шмелей» — вертолетами огневой поддержки десанта.

Каждая группа выстраивается напротив своего борта. Командир нашего экипажа подполковник Пластов натягивает на голову шлемофон и скрывается в кабине. За ним следуют бортовой техник Горшков и летчик-штурман Стрельцов.

Горшков включает аккумуляторяторы, «запитывающие» машину электроэнергией. Начинают рокотать левый и правый двигатели, винт медленно-медленно раскручивается, набирает обороты. Проходит еще минута, и двигатели входят в рабочий режим, переключаясь с малого на большой газ. Наша корабельная группа уже сидит-вибрирует внутри «пчелки». Настроившись на привидную радиостанцию, все шесть «пчелок» в сопровождении четырех «шмелей» отрываются от ВПП.

До района высадки семнадцать минут лета. Наша волна идет на предельно низкой высоте — в пяти — семи метрах над землей, — поднимая клубы густой желтой пыли. Аэродром уменьшается, а громадные топливозаправщики превращаются в бунашен, облепивших взлетно-посадочную полосу. Мы переваливаем через грядку гор. Внизу со скоростью 250 километров в час проносятся равнины, кишлаки, столбы оборванной высоковольтки. Они напоминают поносившиеся кресты на кладбище, любая из могил которого может стать твоей.

Равнины кончились. Теперь под нами скачут горы, становясь все круче, все острее. Проходим ущелье, мрачно разинувшее свою пасть; в этот момент сам себе напоминаешь циркача, засунувшего голову промеж челюстей льва и ощущающего каждой клеточкой кожи его зловонное дыхание. Наш вертолет, отстреливая тепловые имитаторы цели и сбрасывая скорость, снижается вторым. Площадка в ухабах, предельно малая — всего семь — девять квадратных метров. И хотя вертикальных турбуленций еще нет, все же Пластов с трудом держит машину в горячем и оттого еще более разреженном высокогорном воздухе. Бортехник Горшков плюхается животом на днище, открывает дверцу и, высунув голову наружу, кричит в шлемофон:

— Высота два метра — три метра вперед! Высота метр — полметра влево! Садись!

Пластов зафиксировался на месте. Уцепившись взглядом за ежиковатый куст, он продолжает снижаться, то и дело косясь на измеритель скорости сноса. Сильный удар.

— Правым коснулись! — кричит Горшков.

¹ РД — рюкзак десантника.

Пластов сбрасывает шаг. Второй удар. — Передним коснулись! — Бортехник крутит своим ЗШ во все стороны.

Но третье колесо поставить так и не удается: слева внизу крутой склон. Кроме того, справа в борт бьет сильный ветер — самый опасный для вертолета. Горшков вскакивает на ноги, освобождая выход. Мы выпрыгиваем один за другим и, рассыпавшись веером, бежим вперед, прочь от болтающегося вертолета, пригибаемся, втягиваем голову в плечи, чтобы не рубануло задним винтом.

Наш «МИ-8» резко взмывает в небо, а на его место садится следующая. Мы прячемся за камнями, на всякий случай обводя глазами пики соседних гор, откуда на нас глязуют пустые «духовские» бойницы. Мелкие камешки подо мной впадают в локти и колени, ветер, взвизгиваемый вертолетами, норовит сорвать с нас панамы и РД, окатывает пылью и мелким крошечным скал.

— Смотри, чтоб в лобешник не вдарило! — орет мне кто-то сзади.

Метрах в ста над нами барражируют, выстроившись в круг, вертолеты огневой поддержки. Их рокот действует успокоительно, как таблетка сильного транквилизатора.

Последней «пчелке» из нашей волны остается метров пятьдесят до площадки. Погасив скорость и взяв форсаж, она начинает выполнять заход. Вдруг неожиданный рывок влево, вспышка под самым ее винтом и взрыв, приглушенный рокотом «шмель». «Пчелка», видимо, еще не разобралась в чем дело, пошла вниз по склону, чтобы набрать скорость и зайти по новой. Пытаясь уменьшить реактивный момент, экипаж сбрасывает тягу несущего винта, но в самом начале второго витка вертолет ударяется о склон кабиной, медленно-медленно разворачивается влево, крепится на правый бок и одновременно опускает нос. Второй, еще более сильный удар левым бортом — и лопасти, с дробным треском стукнувшись о грунт, разлетаются в разные стороны, секут скалы. Машина, цепляясь за камни, продолжает ползти вниз по склону, и на ходу из нее прыгают десантники. Слышу, как удары сердца чередуются с ударами вертолета о валуны. Секундой позже вываливаются через блистеры вертолетчики. Ощущение такое, будто только что подбили тебя самого и именно ты катился вниз по склону, цепляясь слабеющими пальцами за скалу...

— Это, — заметил я, заканчивая свой рассказ, — действовало на меня удручающе. Быть может, потому что разваливавшаяся на части, беспомощно падавшая в ущелье «пчелка» представляла мне как некий страшный символ рассыпавшейся вдребезги надежды.

Мой спутник молчал, не говоря ни слова. В городе уже давно действовал комендантский час, и несколько раз на перекрестках попадались афганские военные патрули. Однако пропуск, приклеенный к ветровому стеклу «уазика», освобождал нас от необходимости останавливаться. Вместе с ночью на город опустилась тишина, но в ухах все еще стоял отчаянный металлический скрежет катившегося в пропасть вертолета.

Мы добрались до торгпредства лишь к часу ночи. Попрошавшись, я вылез из машины и направился к проходной.

Документов у меня с собой не было, а внешний вид — грязные «кимры», мятая военная форма, взлохмаченные и затвердевшие от пота волосы — столь контрастировал с классическим обликом торгпредовского работника, что дежурный в будке долго отказывался открыть дверь. Потом мне надоело доказывать ему, что перед ним не душман, а корреспондент «Огонька», и, присев на лавку, я сказал:

— Пусти, я валюсь с ног.

Психология — странная штука. Особенно психология дежурных на проходных: никогда не знаешь, что на них подействует. Однако слова «пусти, я валюсь с ног» показали стражу торгпредства убедительными, и он открыл дверь, буркнув вслед:

— Бур черт, сер черт — один бес.

Приняв в номере душ, я залез в постель и потушил свет. Из окна этажом выше пела Пугачева:

Знаю, милый, знаю, что с тобой.
Потерял себя ты, потерял.
Ты покинул берег свой родной,
А к другому так и не пристал...

Потом Пугачеву выключили. Ее сменил мулла, кричавший что-то через звукоусилитель на весь Кабул. Два вселенные, оказавшиеся рядом, в одном городе: фантастическое сожительство.

Сна все не было. Я окинул комнату взглядом в поисках какого-нибудь чтива. На единственной полке лежала подушка чалых прошлогодних журналов, а рядом — десять первых томов Собрания сочинений Маркса и Энгельса. Из седьмого тома торчала закладка. Я взял его и сразу же раскрыл на 422-й странице. Скомкав закладку,

я бросил ее в медную пепельницу на журнальном столике. Один из абзацев был помечен карандашом. С него я и начал:

«Самым худшим из всего, что может предстать вождем крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. То, что он может сделать, зависит не от его воли, а от того уровня, которого достигли противоречия между различными классами, и от степени развития материальных условий жизни, отношений производства и обмена, которые всегда определяют и степень развития классовых противоречий. То, что он должен сделать, зависит от него его собственная партия, зависит опять-таки не от него самого, но также и не от степени развития классовой борьбы и порождающих ее условий; он связан уже выдвинутыми им доктринами и требованиями, которые опять-таки вытекают не из данного соотношения общественных классов и не из данного, в большей или меньшей мере случайного, состояния условий производства и обмена, а являются плодом более или менее глубокого понимания им общих результатов общественного и политического движения. Таким образом, он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он может сделать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он должен сделать, невыполнимо. Словом, он вынужден представлять не свою партию, не свой класс, а тот класс, для господства которого движение уже достаточно созрело в данный момент. Он должен в интересах самого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и отделяться от своего класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными. Кто раз попал в это ложное положение, тот погиб безвозвратно...»

Захлопнув книгу, я вспомнил своего недавнего собеседника, наш с ним ночной спор.

Я улетал из Кабула на следующее утро. Оно было жарким и удушливым. Белое солнце принялось обжаривать город спозаранку, и, когда я добрался до аэропорта, воздух уже дрожал над его раскаленными взлетно-посадочными полосами. Я бросил свой чемодан близ трапа, ступеньки которого вели в небо. С другой его стороны, в тенечке, беседовали майор Новиков и подполковник Леонов, с которыми две недели тому назад я познакомился под Южным Багланом. Новиков протянул мне термос с кофе, но я, прежде чем сделать глоток, подозрительно осмотрел его, попытавшись открыть дно.

— К чему такая предосторожность? — поинтересовался Леонов.

Я рассказал историю про термос с пластиком, найденный в блиндаже Южного Баглана, и все мы рассмеялись.

До Афганистана Леонов служил в Белоруссии. Его семья и сейчас там. Прошлым летом он ездил туда в отпуск. И хотя на дорогу даются одни сутки, почти три первых дня проторчал в Душанбе: билетов, как всегда, не было.

— Симу в ресторане, — Леонов размял пальцами сигаретку, — вместе с заместителем командира полка. Он меня спрашивает: «Ты че, Петрович, все крутишься?» А я: «Да сзади кто-то крадется». Он улынулся: «Так то официант. Перевозил ты, брат...» По Душанбе, помнится, иду и замечаю, что машинально обхожу стороной все зеленые насаждения. Домой приехал, первые две ночи глаз не сомкнул: не спится, и все тут, хотя знаю, что чертенок устал. А когда на третий сутки близ военного городка начались учебные стрельбы, заснул в один миг. Как убитый. Ну, как водится, у каждого по сотне вопросов но мне. Я даже решил на карточках написать ответы типа: «Да, думаю, что скоро», «Нет, его я не знаю», «Хреново», «Да отвязись ты!..» Чтобы показывать их и не трепать лишний раз языком. Отпуск хорошо провел. Только вот всякие мелочи отравляли настроение. Вроде бы на родной земле, целовать ее хочется, а тут вдруг из-за какого-то авиабилета до дому так намаешься, хочется послать все к... Билет до Москвы на черном рынке в Душанбе стоит 200 рублей. Да подавиться вы этими двумястами, дайте только жене поскорей увидеть!

— В Ташкенте не лучше. — Новиков глубоко затянулся папиросой. — Бронь моя на билет до Харькова оказалась недействительной — хоть плачь поскреби вонзала! А тут рядом, прямо за диспетчерской такси, группа гражданских — стоят, шепотом переговариваются. Подхожу, руки воронкой сложил, как гаркну: «Граждане спекулянты! Кто может предложить билет до Харькова?» Через секунду один подбегает, слюнявым ртом в ухо шепчет: «Не так громко, товарищ майор, ведь после постановления о нетрудовых доходах так рискнем...» Тут я не вытерпел: «Это ты-то, лагури твою мать, рискуешь?» Он весь в комок сжался. Жаль его стало. Какой смысл спорить с ним про риск... Сунул я ему сотню, зато через восемь часов уже стучался в дверь дома.

Наш разговор прервал рокот «транспортника».

Похуже, это за вами, — сказал я. Мы пожалы друг другу руки. Вскоре Новиков и Леонов смешались с группой других военных, ожидавших отлета этим же рейсом. Минут через десять самолет был уже высоко над Кабулом. Глядя, как тает в небе маленькая точка, еще недавно рокотавшая на весь город своими двигателями, я сел на одну из ступеней трапа.

Я думал о всем том ворохе стойких подсознательных ассоциаций, которые вывозит человек из Афганистана. Смотришь в магазине, как вентилятор на потолке вяло месит лопастями летний,

душный воздух над мясным прилавком, и чувствуешь, как что-то мелькает в памяти, чего-то явно не хватает. Ну, конечно, лопастям не хватает звукового сопровождения — дробного рокота вертолетных двигателей.

Или вдруг предрассветную московскую тишину разорвет яростная очередь пулемета. Вернешься из далекого афганского сна, протрешь глаза и лишь тогда сообразишь: да нет же, успокойся, старик, это просто-напросто мотоциклист, так его и растак, гоняет без глушителя. Совершенно отлично от твоих родных ты будешь воспринимать слова «зеленка», «цинк», «ягоды», «кефир»!... Афганистан украдет их у тебя. Появятся десятки новых слов, об истинном значении которых не догадается никто, кроме тех, у кого всегда в нагрудном кармане лежит невидимый членский билет фронтового братства. Афганистан навечно заберет у тебя и такие мирные, казалось бы, слова, как «пчела», «шмель», «стриж», «грач», «весельный», «слон», «чайка», «молоко», «сметана», «консервы»... Афганистан переместится в твое подсознание и оттуда будет преследовать тебя днем и ночью. Днем и ночью. Какая-нибудь совершенно безобидная деталь (ну хоть тот же треск мотоцикла) потащит за собой целую бездну воспоминаний и ассоциаций, словно хвост удушливых выхлопов, видимых лишь тебе, но никак не твоей очаровательной спутнице.

Или в твою дверь позвонит соседкин сын.

— Дяденька, смотри, — скажет он и протянет маленький черный тюльпан, — ботаничка сказала нам поставить цветок в чернильницу на ночь — вот что получилось!

Но восторга впитавший в себя чернила цветок у тебя не вызовет.

Временами Афганистан опять будет для тебя явью, а окружающий мир — лишь иллюзией, сном. В Москве еще до командировки в Афганистан я познакомился с одним летчиком, работавшим в ДРА на «граче», имевшим за спиной более 150 боевых вылетов, награжденным двумя орденами Красной Звезды. При ходьбе по московским бульварам он очень внимательно смотрит себе под ноги, точно чего-то ищет. Я долго не мог понять, в чем дело, тоже пристально разглядывал тротуар, но ни у него, ни у себя под ногами ничего не замечал, кроме фантиков от конфет, луж и кисших в них листьев. Вскоре все выяснилось. Зацепившись за ориентир (например, окурки), он мысленно просчитывает точку ввода истребителя в пикирование с таким расчетом, чтобы марша прицеливания легла над окурком и был получен единственно верный угол атаки. Кроме того, объяснял он, необходимо точно выбрать правильный момент для сброса бомб. Это занятие долгое время поглощало все его внимание, а родичей и жену здорово нервировало.

Летом ты поедешь отдохнуть с женой в Крым. Но при виде Карадага мозг твой, помимо воли, сам определит наиболее выгодные позиции для пулемета.

А однажды, когда ты окончательно и бесповоротно запутаешься в лабиринте детективного романа, как когда-то в кишлаке Мальян-Гулям, тебя (я не смеюсь!) потянет на поэзию: достанешь с полки первый попавшийся томик. Окажется Пушкин. На сон грядущий начнешь читать с середины:

...Кони снова понеслись;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собрались
Средь белеющих равнин.

Но лишь напорешься на слово «духи», воображение мигом заменит несущихся коней на БТРы, колокольчик — на лязг их гусениц, белеющие равнины — на желтые пески. Ты захлопнешь книгу, отбросишь на кровать: Пушкина теперь у тебя тоже нет. По крайней мере этого стихотворения.

Ты поднакопишь денег, пойдешь в магазин и купишь наконец-то «Зенит». Но нажав в первый же раз спусковую кнопку новенькой фотокамеры, совершенно искренне удивишься, что нет отдачи.

А по ночам ты будешь просыпаться с ощущением спускового крючка на указательном пальце. Но если тебе повезет, через месяцев пять-шесть ты научишься смотреть на все это спокойно, без лишних эмоций.

¹ По условной терминологии, принятой среди советских военнослужащих в ДРА, приведенные далее слова обозначают: «зеленка» — местность, покрытая зеленой растительностью, где обычно прячутся душманы; «ягоды» — люди; «кефир» — дизельное топливо; «пчела» — вертолет «МИ-8»; «шмель» — вертолет огневой поддержки; «стриж» — «СУ-17»; «грач» — «СУ-25»; «весельный» — «МИГ-21»; «слон» — танк; «чайка» — машина; «молоко» — керосин; «сметана» — бензин; «консервы» — мины; «черный тюльпан» — одна из служб тыла.